

Владимир ГОЛОВИН

«ЗАВЛЕКАЮТ В СОЛОЛАКИ СТЕРТЫЕ ПОРОГИ...»

Литературные страницы старого района

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо вступления	2
Страница первая – Паоло Яшвили	3
Страница вторая – Александр Цыбулевский	8
Страница третья – Булат Окуджава	13
Страница четвертая – Арсений Тарковский	16
Страница пятая – Вахушти Котетишвили и Леван Челидзе	21
Страница шестая – Николай Гумилев	26
Страница седьмая – Осип Мандельштам	31
Страница восьмая – Сергей Есенин	37
Страница девятая – Ованес Туманян	42
Страница десятая - Степан Ананьев и Владимир Панов	47
Страница одиннадцатая – Дома на улице Галактиона	52
Страница двенадцатая – С мемориальными досками и без них	56
Страница тринадцатая – Александр Грибоедов	62
Страница четырнадцатая - Михаил Лермонтов	67
Страница пятнадцатая – Яков Полонский	71
Страница шестнадцатая – Рюрик Ивнев	76
Страница семнадцатая – Салоны Тифлиса-Тбилиси	81
Страница восемнадцатая – Зинаида Гиппиус и Владимир Эльснер	85
Страница девятнадцатая – Семья Тхоржевских-Пальм	91
Страница двадцатая – Леся Украинка и Шио Читадзе	96
Страница двадцать первая – Александр Островский	101
Страница двадцать вторая – Юрий Тынянов	106
Страница двадцать третья – Владимир Соллогуб	110
Страница двадцать четвертая – Великие князья Сандро и Гоги Романовы	115
Страница двадцать пятая – Александр Пушкин	119

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Давай, горбатой улицей,
 умытою дождем,
 устав хандрить и хмуриться,
 Мы вечером пройдем.
 По лестницам, по лестницам,
 туда, где пляшет синь,
 где можно с неба свеситься
 среди стиранных простынь.
 По дворикам, по дворикам,
 где кот живет в князьях,
 и старцы, как о Йориках,
 судачат о друзьях...

Помнится, так я пригласил на прогулку по старым тбилисским районам своих товарищей 20 лет назад. А сегодня делаю такое же предложение и вам, дорогие читатели. Тогда Тбилиси был совсем другим – не пережившим потрясения войн и разрухи, отъезд тысяч исконных горожан, веяния новых времен. Прошедшие десятилетия, многое изменившие в облике города и придавшие почти европейский лоск его центральным проспектам, казалось бы, не коснулись этих самых горбатых улочек и легендарных двориков. Те же лестницы, балконы, горделивые коты, философствующие старики, аппетитные запахи многонациональной кухни.... Ими и сегодня восторгается каждый, впервые ступивший на тбилисскую землю. А, между тем, изменилось главное – на все это наложило свою властную руку время. Сейчас среди стиранных простынь не очень-то и свесишься – старые дома и дворы катастрофически ветшают, балкончики и мансарды угрожающе скрипят и качаются. Ну, а в тех показательно отреставрированных уголках, куда валом валят туристы, вряд ли кому-нибудь придет в голову вывешивать простыни прямо под их фотообъективы...

А, ведь, когда-то из этих окошек, из этой сини, звучали такие голоса и строки, до которых нам и сегодня тянуться – как до небес. И старая кирпичная кладка, и сохранившиеся булыжные островки мостовых словно повторяют поразившие когда-то, своей точностью, слова:

Вот и все. Смежили очи гении.
 И когда померкли небеса,
 Словно в опустевшем помещении
 Стали слышны наши голоса.

Может, камни обладают лучшей памятью, чем люди? И уже полуразрушенные, обветшалые бывшие особнячки продолжают представлять себя прежними: полными поэтических споров и вдохновений, полными человеческих встреч, застолий, дружб. И, увы, чаще всего - трагедий. А еще в этом стихотворении Давида Самойлова есть такие слова: «Нет у их. И все разрешено». И действительно, иногда кажется, что наше прагматичное время диктует иные законы - по которым все разрешено. Но было ли легким время тех гениев? Как часто их слова и поступки, казавшиеся наивными и беззащитными перед грубой силой, были и остаются мерилем истины для всех времен. А значит - и для нас с вами.

За последние годы Тбилиси (и он не одинок в этом) накрыла волна переименований, продиктованных все тем же всевластным временем. Старинному району Сололаки повезло и не повезло больше остальных. Почему не повезло? Да потому что неясно,

доживет ли он до предполагаемой реставрации - дома рушатся один за другим. А повезло оттого, что переименования улиц коснулись этого района в самом благотворном смысле. Теперь мы бродим по улицам поэтов Паоло Яшвили, Георгия Леонидзе и Ладосатиани, критика и переводчика Геронтия Кикодзе, литературоведа Павле Ингороква. Они сменили символы ушедшей «коммунистической» эпохи – имена Алеши Джапаридзе, Сергея Кирова, Фридриха Энгельса, Филиппа Махарадзе, Феликса Дзержинского. И так удачно получилось, что этим продолжилась традиция «литературных связей» старинного района. Ему и раньше везло – его топонимика, как нигде еще в городе, связана с именами литераторов. Ведь именно тут пересекались судьбы поэтов и писателей, оставивших, пожалуй, самый яркий след в литературе – грузинской, русской, армянской... Всех и не перечислишь. Не случайно, нижняя граница Сололаки проходит по улице, названной в честь драматурга и переводчика Шалвы Дадиани, правая – по улице публициста Шио Читадзе. Сололакцы ходят по улицам поэтов Михаила Лермонтова и Галактиона Табидзе, писателей Иванэ Мачабели и Даниела Чонкадзе... Впрочем, хватит перечислений, их можно найти во многих справочниках. А я предлагаю пройти по Сололаки, как по страницам книги, где можно увидеть тех, чьи имена и строки повторяет здесь каждый переулок, даже, если его официальное название и не связано с литературой. Имена, ставшие гордостью не только грузинской культуры. Давайте же листать сололакские улицы с тем же удовольствием, с каким мы листаем страницы любимых книг.

СТРАНИЦА ПЕРВАЯ

Первая страница - дом №7 на улице Паоло Яшвили. Поэт поселился здесь еще, когда она называлась Ртищевской, отсюда и ушел навстречу смерти. Его имя стало символом тех удивительных по чистоте отношений, которые связывали русскую и грузинскую литературы в первой половине прошлого века - отрадной для Парнаса и печальной для самих поэтов. Ох, сколько мы увидим интереснейших переплетений судеб, сколько восторженных, искренних слов услышим! Вот, в кутаисской гимназии Паоло, вместе с Владимиром Маяковским, пишет в рукописные журналы. Вот он - студент Института искусств при Лувре - подружился с Константином Бальмонтом и тот, позже, говорит ему: «Когда мы были в Париже и ты приходил ко мне и часто усталому и опечаленному читал Шота и стихи других поэтов, я чувствовал тогда торжество моей души». И это – не случайно, ведь именно Бальмонт первым перевел на русский язык поэму Шота Руставели, назвав ее «Витязь в барсовой шкуре». А вот – то, что наиболее прославило Паоло – журнал «Голубые роги» и одноименная группа символистов. Слышите, Осип Мандельштам иронизирует: «Голубые роги» почитаются в Грузии верховными судьями в области художественной». А Корней Чуковский изумлен: «Мало кому известно, что замечательный грузинский поэт Паоло Яшвили мастерски владел русским стихом... Внимательно перелистав мою «Чукоккалу», он мгновенно, с удивившей меня быстротой, вписал в нее стихотворный экспромт по-грузински. Увидев, что я с тоской всматриваюсь в непонятные строки, Паоло тотчас же перевел их - стихами! - на русский язык:

Какое чудное соседство:
Здесь Белый, Блок и Пастернак.
Я рядом занимаю место,
Как очарованный протак.
Перевожу вам эти строки
На несравненный русский лад –
Поэт моей любимой дочки,
А для меня - весь Ленинград».

Ну, а о том, что было, когда - с начала 20-х годов и до рокового конца 30-х - в Грузию хлынули деятели русской культуры, свидетельствует поэт Георгий (Гогла) Леонидзе: «Каждого вновь прибывшего к нам поэтического гостя первыми встречали, как правило, Паоло Яшвили и Тициан Табидзе. Паоло был гостеприимным хозяином, Тициан - подлинным Авраамом любого пиршества поэтов». На страницу Тициана – ближайшего друга и единомышленника Паоло – мы заглянем позже. Это ему Яшвили посвятил строки, оказавшиеся беспощадно пророческими. В блестящем переводе подзабытого ныне поэта-эмигранта Сергея Рафаловича они звучат так:

Кошмары буйные нам гибелью грозят.
 Дай причаститься мне, молящемуся ныне.
 Пьянящий фимиам, как благовонный яд,
 Нас, оглашенных, взнес к торжественной святыне.

А пока, давайте, приглядимся к тем, кто не представлял себе Грузию без Паоло Яшвили. И не зря - велика была его любовь к Тбилиси. Мечтая, чтобы друзья из России почувствовали дух этого города, он пишет:

Хочу у ворот солнцеликого града
 Стихами - горячею кровью - пролиться.
 Мильоноголосый, любовь и отрада,
 Тбилиси, не ты ли - поэтов столица?
 (Перевод Яна Гольцмана)

Мы видим лица Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Федора Сологуба, Ильи Эренбурга, Николая Тихонова, Павла Антокольского, Константина Паустовского, Юрия Тынянова, Ильи Эренбурга... И еще многих, многих других, ставших для грузинского поэта просто близкими людьми, а для нас – классиками русской литературы. Они, не оставаясь равнодушными, не могли не высказаться в ответ. Предоставим слово, хотя бы, Борису Леонидовичу:

За прошлого порог
 Не вносят произвола.
 Давайте, с первых строк
 Обнимемся, Паоло!

Ни разу властью схем
 Я близких не обидел,
 В те дни вы были всем,
 Что я любил и видел.

Входили ль мы в квартал
 Оружья, кож и седел,
 Везде ваш дух витал
 И мною верховодил.
 Уступами террас
 Из вьющихся глициний
 Я мерил ваш рассказ
 И слушал, рот разиня.
 Не зная ваших строф,
 Но, полюбив источник,

Я понимал без слов
Ваш будущий подстрочник.

Оживают на этой странице и живописные подробности застолий. Вот Паоло пьет на собственной свадьбе из тувельки своей молодой жены Тамары. Вот голубороговцы всю ночь кутят с Есениным - в Ортачала, как и полагалось у тифлисцев. На рассвете, естественно, отправляются опохмеляться за тарелкой хаши. Есенин еще ни разу не пробовал это знаменитое блюдо, и Паоло очень нервничает – понравится ли оно дорогому гостю? А хаши варится очень долго, и Яшвили так «заводится», что бросает в кипящий котел... кепку. Тициан, чуть позже, засвидетельствует: «Пьяный Паоло варил на рассвете/ Кепку свою в прокопченном котле...» Но нам видно с сололакской страницы, что это не совсем точно: кепка принадлежит другому голубороговцу - Валериану Гаприндашвили. Одному из немногих по-настоящему двуязычных поэтов - он одинаково хорошо писал стихи и на грузинском, и на русском. А вот, в кафе «Интернационал», Паоло дарит жене Тициана - Нине... коробку папирос. Нет, не ради ее табачного содержимого. На коробке записан сочиненный им экспромт, в котором его друг с супругой названы Пьеро и Коломбиной. С тех пор Нину в поэтическом мире Тбилиси иначе и не называли. Вообще же, что касается экспромтов, то Яшвили был на них большой мастер. К сожалению, большинство из них, в том числе и касающихся русских друзей-поэтов, мы так и не увидим. Писатель Серго Клдиашвили объясняет: «Если бы кто-нибудь записывал экспромты Паоло, получился бы весьма внушительный том. Удивительно небрежливым расточителем жемчужин был он». А знаменитый художник Ладо Гудиашвили добавляет: «Удивительный талант импровизации был у Паоло... Его экспромты и эпиграммы были настоящими шедеврами... Как жаль, что восстановить их сейчас невозможно».

Увы, конец этой страницы все ближе и ближе. Первый гром прогремел над Паоло в 1924-м, когда был расстрелян его брат. А потом пришли годы, в которых советской власти требовались лишь поэты, «верные линии партии», а все, духом неподвластное ей, стало искореняться. Слово «символист» звучало практически наравне с «врагом народа». И вот, мы уже читаем протокол X съезда Коммунистической партии Грузии: «Но у нас есть литераторы, которые состоят в связях с врагами народа... Поэту Паоло Яшвили - ему, ведь, уже за сорок - пора взяться за ум». Это говорит не кто-нибудь, а лично первый секретарь Центрального комитета КП Грузии Лаврентий Берия. Да еще и перечисляет известных советских деятелей, общавшихся с Яшвили и «разоблаченных как враги народа». А за окном – 1937-й. И верноподданный Союз писателей Грузии делает соответствующие выводы. Если Яшвили и раньше доставалось на заседаниях в этом союзе за «идеологическое вредительство», то теперь начинается уже настоящая травля. Усердствуют в ней и те, кого Паоло считал своими друзьями. Протокол заседания президиума Союза писателей походит на самый настоящий приговор за «предательскую деятельность». Арестован Тициан Табидзе... Но у Яшвили есть еще шанс выйти сухим из этого мутного водоворота. Надо лишь покаяться и дать нужные показания на своих товарищей. Мы слышим рассказ дочери зверски замученного писателя Михаила Джавахишвили о том, что Берия вызвал к себе Яшвили и лично приказал написать обвинения против ее отца и Тициана. Ответ Поэта на такое требование предугадать нетрудно... Задолго до этого у него родились еще и такие пророческие строки:

По городу бродит на прочих похожее тело.
Прохожие скажут: «Гляди, от поэзии пьяный».
Но кто понимает, что это - опасное дело,
Что в пламени гибнет и корчится мозг окаянный?

Как смерть неотвязное, слово горячкой слепило,
И тело, и душу душило цепями полونا.

Не спишь, а наутро, когда постучится светило,
Ты - скорбная память о том, кого звали Паоло.

Рождается песня - и на год урезаны сроки
Земного пути. И недолго уже до предела.
И если вот это и вправду - последние строки, -
Швырните воронам никчемное мертвое тело!
(Перевод Яна Гольцмана)

А, ведь, в воспоминаниях Гоглы Леонидзе мы упустили одну деталь. Есенин просил Тициана выяснить у Паоло, какой номер ружья нужен, чтобы пойти на кабанов – Яшвили славился и как отличный охотник. Оружие, как мы помним из строфы Пастернака, Паоло показывал ему во время прогулок по Тбилиси. Итак, роковое слово прозвучало. Но, по Чехову, если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. И мы видим, как Паоло берет свое ружье, хранившееся в отделении Союза охотников, и относит его в Союз писателей. Потом пишет письма жене, дочери, старшему брату и... Лаврентию Павловичу. Следующий день – воскресенье. Тамара с дочкой Медеей, как всегда, идет навестить своих родителей. Паоло предупреждает ее, что придет позднее, и отправляется в Союз писателей. Там - очередная проработка «врагов народа». Он ненадолгоприсаживается рядом с обреченным Михаилом Джавахишвили, потом поднимается наверх - туда, где припрятано ружье. Гремит выстрел. Вернувшиеся домой жена с дочерью ждут его до полуночи, но вместо Паоло появляются сотрудники НКВД. Обыск. Уносятся все книги, бумаги, фотографии. Так что, письма Яшвили удастся прочесть лишь через 17 лет после выстрела в Союзе писателей. Когда поэта реабилитировали, в роли запоздалого письмоносца выступил сам Генеральный прокурор СССР Роман Руденко. Пролистаем их, сегодня можно, они – уже не личные, а достояние нашей общей истории. Жене: «Дорогая, любимая Тамара! Прощай. Перед смертью чувствую особую любовь к тебе... Береги здоровье, лечись. О Медее нечего тебе писать, я убежден, что ты из нее сделаешь настоящего человека. Причина моей смерти в том, что люди, с которыми я дружил и которые действительно оказались настоящими врагами народа (я в этом уверен), хотели запятнать мое имя...» Дочери: «Если бы я не поступил так, ты была бы более несчастна». К Берия была единственная просьба: «Ты хорошо знаешь, что я невиновен. Хотя бы, не разорь мою семью».

И еще одно письмо Тамаре Яшвили, написанное тем страшным летом. «Когда мне сказали это в первый раз, я не поверил... Оттенки и полутона отпали. Известие схватило меня за горло, я поступил в его распоряжение и до сих пор принадлежу ему... Когда вновь и вновь я устанавливаю, что никогда больше не увижу этого поразительного лица с высоким одухотворенным лбом и смеющимися глазами и никогда не услышу голоса, от переполнения мыслями обаятельного в самом звучании, я плачу, мечусь в тоске и не нахожу себе места... Воспоминание ранит, доводит боль лишения до сумасшествия, бунтует упреком: за какую вину наказан я вечностью этой разлуки?.. «Что за вздор», — вновь и вновь спрашивал я себя. Паоло? Этот Паоло, которого я так знал, что даже не разбирал, как его люблю, Паоло, имя моего наслаждения... Умереть все равно каждому надо, и притом в какой-нибудь определенной обстановке. Вот и скажут: эта потомством сохраненная жизнь кончилась летом 37-го года, и прибавят достоверности данного времени: темы, которыми жила общественность, названия газет, имена знакомых...». Это – Борис Пастернак. Удивительно больные и точные строки. Вот мы с вами сейчас и всматриваемся в «достоверности данного времени».

...Мимо дома Паоло Яшвили я каждый день ходил в школу и обратно. С соседями-одноклассниками мы могли только догадываться о судьбе поэта - на небольшой мемориальной доске до сих пор значится лишь, что он жил здесь в 1921-1937 годах. Но потом довелось слышать рассказы старожилков о том, какие замечательные люди бывали

здесь – «целая история грузинской и русской литературы». А уж, когда стал знакомиться с историей, и не только литературы, этот старый дом стал для меня символом несомненного духа и таланта. Потому-то я и предложил вам, дорогие читатели, первой среди сололакских литературных страниц перевернуть именно эту.

Жизнь кончается сраженьем,
а не просто стычкой.
Бережит воображение
старый дом с табличкой.
В рифмах песнях и надеждах,
в спорах до рассвета,
оживают у подъезда
дерзкие поэты.

Ах, как славно им мечталось
в грозových зарницах!
Ах, как мало им досталось
места на страницах!
Сколько ритмов не сложилось,
сколько грез распалось.
Сколько им недолюбилилось
и недописалось...

В Сололаки день вчерашний,
злостью багровея,
предварил простой и страшный
жест Хемингуэя.
Время растворило грани
травли и успеха.
Но в подъезде, вечной раной,
кровоточит эхо.

Эхо выстрела в безверье,
в шепоток навета –
защищались, как умели,
дерзкие поэты.
Черный ствол к груди приставив,
целились, не щурясь,
не в себя, а в страх и в зависть.
И в людскую дурость.

Жизнь кончается сраженьем,
а не просто стычкой.
Бережит воображение
старый дом с табличкой.
Завлекают в Сололаки
стертые пороги.
Разве ж, не остры для драки
«Голубые роги»?!

И - последнее, что мы видим на этой странице. Через 73 года после выстрела в Союзе писателей Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II отпускает поэту тяжкий грех. Ведь

самоубийство запрещено священными канонами Христианской Церкви. Но Патриарх заявляет: «Паоло Яшвили действовал под влиянием роковых обстоятельств, которым не мог противостоять. Он покончил жизнь самоубийством, ибо не хотел выдать под пытками своих уже арестованных товарищей по литературному цеху»... До следующей встречи на сололакских мостовых.

СТРАНИЦА ВТОРАЯ

Пока мы стоим в задумчивости у дома Паоло, обратим внимание на удивительное обстоятельство: почти любой дом в Сололаки так или иначе связан с литературой. Даже, если, на первый взгляд, прославлен он совсем иными делами. Так что, продолжим мы путешествие направо или налево – все равно услышим скрип пера по бумаге, вдохновенный стрекот пишущей машинки... И, как результат, нам откроются новые поэтические либо прозаические страницы.

Несколько шагов по улице Яшвили, и мы - у дома №13, в котором, как помнят старые тбилисцы, в давние времена находилась частная больница Шахпароняна. Но на нашу страницу он попал совсем не по этой причине, любовно лелеемой памятью немногих - увы!- оставшихся в живых представителей самого старшего поколения. Именно здесь, спустя десятилетия, жила семья классика грузинской литературы Константинэ Гамсахурдия. А над ней - семья первого секретаря ЦК Компартии Грузии Кандида Чарквиани. Так что, будущий литературовед, переводчик, диссидент советского периода и первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдия рос вместе с сыновьями главного коммуниста республики. Вместе с будущим советником второго президента Эдуарда Шеварднадзе и пресс-спикером третьего президента Михаила Саакашвили – политологом Гелой Чарквиани и его братом Георгием – поэтом, журналистом, писавшим о литературе и культуре, прекрасным знатоком русской и грузинской поэзии, автором нескольких поэтических сборников и соавтором Резо Габриадзе по сценарию некогда знаменитой на весь Союз короткометражки «Феола». Вот, такое переплетение сололакских судеб...

Бросим взгляд напротив и увидим дом №10, уже непосредственно связанный с русской литературой. Хотя известность ему, поначалу, тоже принесла медицина, а точнее – Михаил Гиголов, легендарный тифлисский доктор. Впрочем, он не только заведовал кафедрой травматологии в Институте усовершенствования врачей, возглавлял городскую станцию переливания крови и, вообще, был одним из основоположников трансфузиологии (одного из методов очищения крови) в Грузии. Известнейший хирург настолько любил драматургию, театр, что в 1914 году возглавил Авлабарский клуб, и именно по его инициативе там впервые в Тифлисе, поставили знаменитого «Аршин мал алана» азербайджанского классика Узеира Гаджибекова. А с большой русской литературой этот дом связан, благодаря сыну врача - Георгию Гиголову, который тоже стал легендой. Легендой литературоведения в Грузии. Тысячи выпускников филфака Тбилисского госуниверситета с благодарностью вспоминают этого человека. Десятки деятелей русской литературы и искусства побывали в этом доме, и многих из них связала затем с его хозяином настоящая дружба. А вместе с профессором гостей, по-тбилиски радушно, принимала жена профессора Светлана, фамилия которой приведет нас с этой страницы уже в энциклопедию Венгрии. Она – прямой потомок национального героя Лайоша Кошута...

Если же мы пройдем в другую сторону от дома Паоло, то окажемся у подъезда, где жил еще один знаменитый медик – уже из другого поколения, академик, представитель грузинской школы физиологии, одно время возглавлявший Тбилисский госуниверситет. Но при чем здесь литературная страница? – спросит читатель. А при том, что фамилия этого человека, недавно скончавшегося в Москве – Окуджава. И в доме своего двоюродного брата Важи, конечно же, бывал Булат Шалвович, без которого просто невозможно представить себе литературный Тбилиси. Более того, этот город, живущие в

нем люди, как справедливо считает писатель и публицист Дмитрий Быков, не раз спасали поэта. Добавим: особенно в те времена, когда Окуджава таковым еще не был. Люди, весьма далекие от литературы и высоких слов, просто жили по тбилисским законам человечности. Жили какой-то особенной круговой порукой, не по чьему-либо совету или указу, по велению сердца защищая того, кому на данный момент хуже, чем тебе.

Но сегодня с Булатом Шалвовичем мы общаемся только мельком. Потому что юность свою он провел хоть и неподалеку, но все-таки в соседнем, не менее колоритном районе – у подножья Мтацминды. А по дороге туда, спустившись с улицы Яшвили на нынешнюю Ингорюкву, в середине прошлого века мы обязательно встретили бы удивительного поэта, стихи и судьба которого достойны того, чтобы подольше задержаться на его странице. И не только потому, что их с Булатом навсегда связала тбилисская молодость. Александра Цыбулевского, которого все всегда звали просто Шурой, одна из ниточек его многочисленных дружб привела к беде. Спустя годы, именно ему Окуджава посвятит свои стихи, ставшие знаменитыми песнями – «На фоне Пушкина снимается семейство» и «Былое нельзя воротить». А вот стихи Цыбулевского, к сожалению, не так широко известны. Но Евгений Евтушенко не случайно включил их в свою фундаментальную антологию «Десять веков русской поэзии». Предварив небольшим эссе об авторе, с которым дружил, и, сопроводив такими строчками:

Он ни троцкистом не был, ни эсером,
а всенациональная душа
бессталинским была СССРом,
Пшавелой и Ахматовой дыша.

Тбилисцем Шура стал в два года, когда его семья переехала в столицу Грузии из Ростова-на-Дону. И до конца жизни был неотъемлемой частицей этого города. С Булатом он познакомился на филфаке Тбилисского университета и близко сошелся с фронтовиком, хотя и был на четыре года младше его. Многие вспоминают, что Цыбулевский в то время был начитанней, чем Окуджава и уже писал неплохие стихи. Поэтому мы увидим, как он (надо сказать, вполне справедливо) критикует первые произведения своего друга, читает ему своих любимых поэтов и даже приобщает к иностранной литературе. В итоге, они организуют литературный кружок «Соломенная лампа». А на дворе – конец 40-х, любая неофициально созданная организация считается опасной. Тем более, что в Тбилиси существовала молодежная группа, которая и впрямь «тянула» на самый настоящий антисоветский заговор. В ней – дети репрессированных, фактически мальчишки и девчонки, попросту неспособные на какие-то действия, грозящие вредом могучей государственной машине. Но есть в них ненависть к сталинской системе, есть тайные собрания, есть даже листовки на ночных улицах и упражнения в стрельбе из «мелкашки» на Кукийском кладбище. И, конечно же, не обошлось без провокатора. Правда, по каким-то особым чекистским соображениям, ребят «берут», когда группа уже прекращает существование. Именно по этому делу арестовывают и Цыбулевского, никакого отношения к организации не имевшего. Да, Шура «садится» за то, что не донес на душу подпольной организации – очень милую, писавшую неплохие стихи и люто ненавидевшую советскую власть девушку Эллу (Комунэллу) Маркман. Он не просто дружил с ней, он был в нее влюблен. Для молодого парня, да еще поэта, да еще тбилисца этим все сказано.

Лагерная страница жизни Цыбулевского оказалась, пусть ненамного, но, все же, короче, чем было предписано ее авторами в погонах – из лагеря под Рустави он возвращается через 8 лет. Он возвращается в Тбилиси, заканчивает здесь университет, и начинается тот Цыбулевский, которого запомнили не только его земляки, но и многие гости – литераторы. Прислушаемся к тому, что говорят о нем.

Станислав Куняев: «В его витиеватых стихах, сплетенных из обрывков чувств, картин и мыслей, угадывалась судьба - горестная, одинокая и даже лагерная».

И еще - Юрий Ряшенцев: «Если бы в грузинской столице не было бы такого, казалось бы, чуждого этому городу по крови поэта, то его следовало бы придумать. Он был погружен в этот город, будто был его уроженцем, и в то же время был влюблен в него, будто только вчера увидел его впервые». Вот и сегодня хочется посмотреть на Тбилиси влюбленными глазами Цыбулевского:

Вновь дерево Иудино в цвету
Очутится над улочкой крутою.
Присядет чинно дева на тахту,
Окрашенную всякий год тутою.

А под балконами наклон горы,
Чреватые подвалами панели.
Дворы, дворы. Неведомые цели
Поэзии. Еще, еще дворы.

.....
Соленый, сладкий пух, налет загара.
Но это не произносимо вслух.
Берут в полет пролеты Авлабара,
Где с адской серой смешан банный дух.

Что делаешь, что делаю? Взираю.
Седеющий пульсирует висок.
А я пишу стихи, зачем – не знаю.
Стихи, стихи, как некий адресок.

.....
Рисую вечные картины.
Арба тихонько проплыла:
Повез старик свои кувшины,
Огромные, как купола.

Я так люблю все эти вещи:
Ни взять, ни дать; ни дать, ни взять.
Но говорят – яснее, резче
Мне надо все переписать...

Теперь переписывается многое из того, что было дорого поколению Александра Цыбулевского. Даже завзятые любители его поэзии не едины во мнении, в каком именно доме жил этот прекрасный лирик. На улице, в разные эпохи носившей имена демонических личностей – Петра Великого, Троцкого, Дзержинского. Говорят, что дом снесли в 1970-х годах, когда строили новое здание ЦК Компартии, ныне – Государственной канцелярии. Сегодня это правительственное здание соединяет улицы с именами литераторов, в разные эпохи причастных к политической деятельности – писателя XVII-XVIII веков Сулхан-Саба Орбелиани и литературоведа-этнографа Павле Ингороква. А вот дома поэта Цыбулевского, столь далекого от политики и столь пострадавшего от нее, якобы уже нет.

Что ж, если хочешь что-то узнать о человеке наверняка – поговори с его друзьями детства. Тбилиси не был бы Тбилиси, если бы такие друзья не нашлись. Еще одна легенда – Грузинского телевидения - оператор Игорь Нагорный утверждает: Цыбулевские жили в доме №6, который до сих пор удивляет своей необычной архитектурой. Детская память –

самая долгая и цепкая вещь на свете. И как забыть дом, где ты получил свой первый в жизни велосипед – по «наследству» от Шуры, который был старше? Семьи дружили, время было трудное, и игрушки одних детей передавались другим... Спустя годы, когда Шура вернулся из лагеря, он вместе с Игорем лечил свою хандру в пивбаре, который был недалеко от Грибоедовского театра. А на сайте «Неизвестный гений» дом №6 так и называется «домом Цыбулевского»: «Небольшой и очень аккуратный особняк в стиле модерн. Напоминает постройки западноевропейского типа конца XIX начала XX вв... Он смотрится не только выигрышно, он как будто бы попал на улицы Тбилиси откуда-то извне, из другого города или даже страны... Домик, напоминающий сказки Гофмана. Несколько нереальный для Тбилиси». Представитель наиреальнейшего Тбилиси Шура, уйдя из этого дома, жил в других старых районах – на улицах Киевской и Хетагурова. Но это не значит, что окрестные духаны Плехановского проспекта и Чугурети стали ему ближе тех, куда он из Сололаки водил приезжих русских писателей – резерв исконных городских подвальчиков был у него неисчерпаем.

Вот так посмотришь, как шествуют рядом с Цыбулевым компании гостей-литераторов, и понимаешь: а, ведь, ничего не изменилось по сравнению со страницей Паоло Яшвили, на которой мы видели, как, в 30-х годах, точно так же принимали друзей из России грузинские поэты! Евгений Евтушенко, Александр Межиров, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина, Арсений Тарковский, Андрей Вознесенский, Давид Самойлов, Юнна Мориц... Список можно продолжать и продолжать – не просто дружеская, а кровная связь русской и грузинской литературы не прерывалась. А скольким поэтам и писателям, попавшим в Москве в официальную или полуофициальную опалу в годы «застоя», предоставляла свои страницы «Литературная Грузия»! В этом заслуга ближайшего друга Цыбулевского – Гии Маргвелашвили. Оба они стремились приобщить гостей к жизни Тбилиси даже после официальных «мероприятий», в которых участвовали Симон Чиковани, Ираклий Абашидзе, Джансуг Чарквиани, Гурам Асатиани, Иосиф Нонешвили и другие. Именно о Маргвелашвили известный красноярский поэт Николай Еремин говорит: «Имена, которые в XX веке, своевременно поддержал своим чутким отношением наш замечательный Грузинский Друг, сейчас, в XXI веке, у всех любителей российской словесности, как говорится, на слуху». И именно Маргвелашвили и Цыбулевскому посвящены пронзительные строки Беллы Ахмадулиной. Перечтем их еще раз:

Я знаю, все будет: архивы, таблицы...
Жила-была Белла... потом умерла...
И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси,
где Гия и Шура встречали меня.

О, длилось бы вечно, что прежде бывало:
с небес упал солнцепек проливной,
и не было в городе этом подвала,
где Гия и Шура не пили со мной.

Как свечи, мерцают родимые лица.
Я плачу, и влажен мой хлеб от вина.
Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса
мы встретимся: Гия, и Шура, и я.

Счастливица, знаю, что люди другие
в другие помянут меня времена.
Спасибо! - Да тщетно: как Шура и Гия,
никто никогда не полюбит меня.

Согласитесь, сегодня, когда нет уже никого из столь замечательной троицы, это звучит по-особому...

А еще на странице Цыбулевского мы прочтем странное слово «беллогвардейцы». Нет, это не опечатка. Так прозвали тбилисский круг близких друзей Ахмадулиной. И Шура с Гией были в первых рядах этой гвардии. Но тбилисское «войско», которое, как и Белла, не принимало политику, уничтожающую или унижающую людей, отнюдь не желало видеть своего кумира на том жестоком поле брани, где есть жертвы. Слишком горячи были следы происходившего с поэтами, которых государство посчитало своими врагами. И поэтому мы видим бланк телеграммы, посланной из Тбилиси в августе 1968 года. Тогда группа диссидентов вышла на Красную площадь, протестуя против ввода в Чехословакию советских войск. И Маргвелашвили мчит на почту, чтобы отправить Ахмадулиной телеграмму, смысл которой: «Белла – ты Пушкин». Это – не только очередное доказательство того, каким было отношение к Белле Ахатовне. Она сравнивается с Александром Сергеевичем, чтобы предостеречь, напомнить: в 1825-м Пушкин не вышел на Сенатскую площадь вместе с декабристами и тем самым сохранил себя для всех нас.

Просмотрим и иллюстрации к строчкам о том мире, в котором жил Цыбулевский. Вот в руставский лагерь Шуре приходят письма и посылки от Булата Окуджава. И позже он оценивает это словами, которые дороже всех витиеватых похвал: «Булат – хороший товарищ»... Поженившись, Булат Шалвович и Ольга Арцимович приезжают в Тбилиси и отмечают знаменательное событие в духанчике у Метехи. Приглашенных – лишь несколько человек. Среди них – Цыбулевский и братья поэты Отар и Тамаз Чиладзе... В первый же день знакомства с Юрием Ряшенцевым «удивительный гид» гуляет по тбилисским улицам в сторону любимого места гостя – Метехскому спуску. А в трактире, заказав чачу, показывает на маленькие стаканчики: «Вот это – точно выверенная норма, которую надо пить». И Ряшенцев, с огорчением, говорит, что «у нас – другая норма»... С Владимиром Соколовым Шура приходит к редактору издательства «Заря Востока», художнику, стихотворцу Георгию Мазурину и тот показывает им свои картины. Больше всего Соколова поражает портрет известного каждому тбилисцу плехановского Кики. И гость настолько проникается тбилисским духом, что предлагает: «Надо бы отыскать этого Кики, пригласить его куда-нибудь, выпьем с ним вина, поедим хачапури, хинкали»... Вот Александр Межиров в Москве обзванивает друзей, чтобы достать лекарство для Цыбулевского... А знаменитая тбилисская художница Гаянэ Хачатурян расписывает стену лоджии в последней, чугуретской квартире Цыбулевского: женщины на конях, одна из ее самых любимых тем. В 1975-м Шура умирает, а в 90-х годах его вдова с сыном уезжают в Израиль. Новые жильцы делают в лоджии ремонт, а потом, узнав, что они уничтожили, долго сокрушаются. Правда, Гаянэ успевает сделать для отъезжающих копию, но какая копия заменит оригинал?

Не так уж часто оставляя нам свои копии, все тише шелестят страницы того века, который на наших глазах стал прошлым. Новый век принес новые ценности: электронное мерцание Интернета вместо пахнущих краской скромных поэтических сборников, роскошные строения из стекла и бетона вместо уютных домиков, увитых плющом... Но, по-прежнему цепко держатся друг за друга улочки и закоулки старого района, сплетаясь узелками памяти там, где пересекались жизни грузинских и русских поэтов. Где они так и остались рядом. И где по-прежнему рядом на полке их книги, на страницах которых бушует такой родной, такой непредсказуемый, такой уходящий Тбилиси. На той же полке у меня – сохраненный с детства подарок той самой Комуналлы – сборник Есенина вышедший в 1959-м, когда поэт перестал быть под запретом. В маленькой квартирке Маркман я впервые услышал записи Галича, привезенные из Москвы, и Ахмадулиной – сделанные здесь же, в комнатке. А на последней странице есенинского сборника – след аккуратно переписанного карандашом стихотворения Ахматовой: «Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король...»

И я очень надеюсь, что вскоре на этой полке появится еще один сборник Цыбулевского. Его готовят к изданию в Москве. Так кто же это там говорит, что связь времен и литератур прерывается?

СТРАНИЦА ТРЕТЬЯ

Каждому, кто хоть раз побывал в Сололаки известно: до другого старого тбилисского района - Мтацминда - путь недолгий, минут десять ходьбы. Это – если по молодости и вприпрыжку. А если так, как идет пожилой человек впереди нас – медленно, с остановками, пристально вглядываясь в знакомые окна и двери подъездов, то и подумается: путь длиною в жизнь.

Вот, он задумчиво остановился у дома, значит, и ему здесь что-то о ком-то напоминает. Похоже, мир своего тбилисского детства приезжал искать сюда и «певец Арбата», книги и стихи которого издавались множество раз и известны повсюду – Булат Окуджава. По старым извилистым улочкам мы незаметно дошли до района Мтацминда и остановились возле Тбилисской консерватории. «При чем здесь консерватория?» – спросите вы. Да, она во многом обязана своим возникновением русско-грузинским культурным связям – 110 лет назад Антон Рубинштейн дал в Тифлисском оперном театре исторический концерт, весь его сбор пошел на создание фонда для постройки этого здания. И, в благодарность, в угловой нише фасада консерватории установлена его скульптура. Но Булат Шалвович никогда не писал песен на музыку этого композитора и одного из величайших пианистов мира! А все очень просто. Именно здесь, можно сказать, у стен консерватории, Окуджава провел большую часть своей тбилисской жизни. Какое-то время (очень небольшое) он жил и в других районах города. Но именно на улице, которая своим именем Грибоедовская олицетворяет общие страницы истории Грузии и России, происходили события, сыгравшие огромную роль в судьбе человека, без которого невозможно представить русскую литературу минувшего века.

После того, как мальчик, родившийся в московском роддоме Грауэрмана, месяц прожил на Арбате под именем Дориана, родители решают окончательно зарегистрировать его, как Булата. А еще через пару недель отец командирован на партийную работу в Грузию. Лучшего места назначения нельзя было придумать – о своих кутаисских и тифлисских корнях Окуджава подробно рассказал в романе «Упраздненный театр». И, естественно, в течение нескольких лет малыша отвозят в Тифлис к грузинским родственникам со стороны отца, и армянским – со стороны матери. Кстати, те тоже ходили по Сололаки – улицам Паскевича (ныне – Кикодзе) и Лермонтовской.

Уже за спиной Ортачала.
Кура пролегла стороной.
Мне только лишь три отстучало,
А что еще будет со мной!

.....

Я еду Тифлисом в пролетке
И вижу, как осень кружит,
И локоть родной моей тетки
На белой подушке дрожит.

А вот – и первый, детский опыт межнационального общения: «Он отправляется играть в старый тифлисский дворик с Нерсесом и другими детьми, перемешивая армянские, грузинские и русские восклицания с той же самозабвенностью, с какой, перемешиваясь, витают вокруг него ароматы молодого чеснока, киндзы и грецких орехов, и лобии...»

В начале 1930-го семья воссоединяется на исторической родине и поселяется в знаменитой гостинице «Ориант», где тогда располагались высокие партийные чины. Это – то самое здание, которое прожило на проспекте Руставели 125 лет, успев побывать еще и

«Интуристом». А когда его превратили в Дом художников, стены переделанных номеров все равно хранили память об останавливавшихся здесь гостях грузинских писателей, среди которых – Михаил Булгаков, Сергей Есенин, Борис Пастернак, Николай Тихонов... Да и вообще, «Ориант» был для русских литераторов символом Тифлиса настолько, что Илья Ильф и Евгений Петров поселили в нем Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, гонявшихся за Театром Колумба. Увы, уже почти 20 лет как ни тбилисцы, ни их гости не видят этого здания – оно сгорело в гражданской войне начала 1990-х. Но зато к дому, в который семья Окуджава переехала из «Орианта», любой желающий может подойти вместе с нами. Это – тот самый дом №11 на Грибоедовской, напротив консерватории. Отсюда маленький Булат поедет с матерью в Москву, когда отца переведут в Нижний Тагил, где ему суждено погибнуть как «врагу народа». Сюда приедет с Арбата через год с небольшим после того, как чекисты придут и за матерью. Отсюда он уйдет на войну, сюда вернется с ранением, здесь примет мать, вернувшуюся из заключения... Вообще же, именно в те годы, которые он провел в этом доме, многое в его жизни происходило в первый раз.

Список событий, которому можно дать заголовок «впервые», внушительен. Начало «тбилисского периода», до 1932-го: Булат знакомится с музыкой в консерватории и в опере, ставшей его пожизненной любовью; поет сам – в дворовых спектаклях, которые, к тому же и режиссирует; идет в первый класс школы, начинает рисовать. В 1940 году оставшийся без родителей Булат заканчивает седьмой класс, и сестра матери Сильвия привозит его с Арбата все в ту же квартиру на Грибоедовской. Так начинается его второй «тбилисский период». В нем – еще больше событий, происходящих впервые. Оценено поэтическое дарование – учительницей литературы Анной Аветовной Малхаз-Тарумовой, организовавшей в 101-й школе литературные вечера и драмкружки. Чтение своих стихов перед друзьями. Выход на публику – в составе агитбригады, созданной Анной Аветовной для выступлений в госпиталях перед ранеными. Встречи с обладателями громких имен. Все та же учительница литературы приглашает в школу корифеев эвакуированного МХАТа – Ольгу Книппер-Чехову, Василия Качалова, Михаила Тарханова и других. Окуджава так читает им стихи, что сам Качалов расцеловал его! Ну, а эвакуированные звезды Большого театра Вера Давыдова и ее муж, директор оперной труппы Дмитрий Мчедлидзе вообще поселились на одной лестничной площадке с семьей Сильвии. Кстати, впоследствии супруги переехали в Грузию насовсем – она преподавала в Тбилисской консерватории, напротив которой они жили в годы войны, он возглавлял Театр оперы и балета. Но это – так, к слову. Слову о том, как переплелись и здесь судьбы грузинского и русского искусства. Что же касается Булата, то до его ухода на фронт в 1942-м произошли еще два важных события: первый резкий «взрослый» поступок – уход из школы и первая запись в трудовой книжке – «статист Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова». Ну, а потом – первый воинский эшелон... Помните: «И женщины глядят из-под руки,/ в затылки наши круглые глядят»? А вот – еще конкретнее:

Уходит из Навтлуга батарея.
Тбилиси, вид твой трогателен и нелеп:
по-прежнему на синем – «бакалея»,
и по-коричневому – «хлеб».

.....

Мы проезжаем город. По проспекту.
Мы выезжаем за гору. Война.
И вывески, как старые конспекты,
свои распаивают письма.

Третий «тбилисский этап» в биографии Булата Шалвовича начинается весной 1944 года, когда, после ранения, он вернулся с фронта все в тот же дом №11. И, пока он жил там, в

семье своей тети Сильвии, появляются новые «впервые». После получения экстерном аттестата зрелости - первая публикация в прессе: стихотворение под псевдонимом «А.Долженов» в газете Закавказского фронта «Боец РККА» (впоследствии – «Ленинское знамя», «Закавказские военные ведомости»), а затем, там же – стихи уже и под собственным именем. Первые посещения литературных объединений, ничем дельным, впрочем, для него не закончившиеся. Первые поклонницы – в Тбилисском университете, на филфак которого он поступает. Первая песня – «Неистов и упрям, гори, огонь, гори». Первая попытка жить отдельно от родственников, правда, не очень далеко – полуподвальная комнатка снята через дорогу, в здании консерватории, и именно в ней был создан литературный кружок «Соломенная лампа». Первое личное знакомство с большими поэтами – в 1945-м читал свои стихи Борису Пастернаку, приехавшему в Тбилиси, а спустя три года – Павлу Антокольскому и Александру Межирову. Первая женитьба – на Галине Смольяниновой, дочери переведенного в Тбилиси подполковника Советской Армии... Дальнейшие «впервые» относятся ко времени, прожитому уже не в доме напротив консерватории, а в семье молодой жены. Но именно в Тбилиси бдительные «органы» впервые проявляют к нему внимание уже не из-за родителей, а из-за него самого. Была и первая «профилактическая» беседа – из-за того, что «Соломенная лампа» собирала слишком вольно мыслящих молодых людей.

О чем еще напомним нам старый дом у подножья горы Мтацминда? В первую очередь, о том, что Окуджава, превратившийся в нем из паренька в мужчину, конечно же, не мог не возвращаться вновь и вновь в город, с которым он был кровно связан. Который, по своим духу и традициям, привечал его в трудные минуты. И из которого в 1950-м, он уехал, как говорится, в большую жизнь.

И вижу, ба, знакомые все лица
и речи, и грехи из года в год!
В одежке, может, малая крупца
нас различает - прочее не в счет.

.....

И вот тогда (сто раз увидев это)
о, может быть, и сам я стану вновь
сентиментален, как его рассветы,
и откровенен, как его любовь.

Но и в другой – московской жизни - Тбилиси продолжал дарить ему события под грифом «впервые». Среди них - первое появление повести для детей «Прелестные приключения» - в 1971-м, в издательстве «Накадули», с рисунками самого Булата Шалвовича. И, конечно же, первое предложение непосредственного покровительства из самого высокого партийного эшелона. В начале 1983-го, в очень нелегкую для себя пору, он приехал в Тбилиси, где руководство республики предложило ему жить и творить в Грузии... А теперь перелистаем страницу, на которой понятия «первое» и «последнее» стоят рядом. В январе 1997 года в «Новом мире» впервые печатаются «Автобиографические анекдоты» Окуджава, и в мае автор должен впервые «вывести их на международную арену» - читать в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Но за два дня до выступления он попадает в больницу, выйти из которой ему уже не суждено. Так «Автобиографические анекдоты» становятся последней прижизненной прозаической публикацией Булата Шалвовича. И именно в них он, опять-таки впервые, поведал миру о своей первой попытке напечататься. Было это, конечно же, в Тбилиси. Стихи, которые писал 12-летний Булат, очень нравились не только ему самому, но и его дяде с тетей – бухгалтеру и «просвещенной домохозяйке». Они кричали, что племянник - гений, а дядя даже прямо спросил: «А почему у тебя нет ни одной книги твоих стихов? У Пушкина сколько их было... и у Безыменского... А у тебя ни одной...» «И эта печальная несправедливость так меня возбудила, что я отправился в

Союз писателей, на улицу Мачабели», - сообщает Окуджава. В пустом из-за жары Союзе писателей мальчик вошел к «самому главному секретарю», заехавшему за какими-то бумагами, сообщил, что пишет стихи и хочет издать сборник. Дальнейшие события таковы: «Он стоял, не шевелясь, и какая-то странная улыбка кривила его лицо. Потом он слегка помотал головой и воскликнул: «Книгу?! Вашу?! О, это замечательно!.. Это было бы прекрасно!» Потом помолчал, улыбка исчезла, и он сказал с грустью: «Но, видите ли, у нас трудности с этим... с бумагой... это самое... у нас кончилась бумага... ее, ну, просто нет... финита...» Дома за обедом я сказал как бы между прочим: «А я был в Союзе писателей. Они там все очень обрадовались и сказали, что были бы счастливы издать мою книгу... но у них трудности с бумагой... просто ее нет...» «Бездельники», - сказала тетя. «А сколько же нужно этой бумаги?» - по-деловому спросил дядя. «Не знаю,- сказал я, - я этого не знаю». «Ну, - сказал он,- килограмма полтора у меня найдется. Ну, может, два...»... Храните, небеса, тбилисские улочки – дороги длиною в жизнь, по которым ходили такие писатели и такие дяди! Именно благодаря им, Анатолий Гребнев смог сказать о друге своей юности Булате Окуджава: «Мне кажется, я один знаю, откуда эта безупречная внутренняя пластика, это сдержанное достоинство и вкус. Тут его кавказские корни, тбилисское и одновременно московское воспитание – пополам». У дома №11 на Грибоедовской позволим себе в одном не согласиться с замечательным российским сценаристом – об этом знает не только он. Мы знаем тоже.

СТРАНИЦА ЧЕТВЕРТАЯ

Продолжаем бродить по узким улочкам Сололаки и Мтацминда, словно цепью опоясывающим Святую гору. И каждое звено этой цепи – пожелтевшая от времени, но не увядшая, не утратившая жизненной силы страница Литературы. Именно так, с большой буквы. Мы поднимаемся все вверх и вверх. Там, над нами – последний приют тех, кто составляет славу Грузии, ее поэтическую гордость. Николоз, Илья, Акакий, Важа, Галактион... Сколько великолепных строк и переводов, сколько цепочек судеб и связей разбегаются отсюда во все концы мира! И конечно, в первую очередь, в Россию. В одной из таких цепочек - крутой, небольшой переулочек Котэ Месхи на склоне горы. Но, пока мы еще не подошли к нему, оглянемся в Россию, в далекий 1940 год, невероятно трудный для Марины Цветаевой. Она никогда не бывала в Грузии, но именно в тот год ее спасали стихи грузинского поэта. Спасали в полном смысле этого слова. У нее с сыном не было ни теплой одежды, ни обуви, ни одеял. Была лишь съемная комната в Голицыне неподалеку от дома отдыха Литфонда, где коллеги-писатели смогли устроить им, по крайней мере, питание. И тут Марина Ивановна с головой погружается в... грузинскую поэзию. «Цветаева была занята только переводом поэм Важа Пшавела. «Гоготур и Апшина» и «Раненый барс». Черновики «Гоготура» заняли большую тетрадь», - свидетельствуют современники. «Марина Ивановна работала так, словно бы писала свою оригинальную поэму. Она не жалела сил, была предельно требовательна к себе и щепетильна... Переводы были для нее не только средством существования, но и спасением, забытием от жизни, которая упорно и настойчиво пыталась сломать», - констатирует авторитетнейшая исследовательница цветаевского творчества Анна Саакянц. И именно эти переводы, во многом, привели Марину к последней привязанности в ее жизни. Вот, она пишет молодому московскому поэту: «Ваш перевод - прелесть. Что вы можете - сами? Потому что за другого вы можете – все». Это – тоже 1940 год. Это - встреча с Арсением Тарковским. Они звонили друг другу, встречались, гуляли по любимым местам Цветаевой - Волхонке, Арбату, Трехпрудному переулку и было заметно, как она менялась в его обществе: последний всплеск, последняя попытка спастись от пустоты. Именно Арсению она посвятит последнее в своей жизни стихотворение, в ответ на его «Стол накрыт на шестерых». Тарковский узнает об этом уже после ее смерти. И именно он станет одним из лучших переводчиков Важа Пшавела, словно приняв эстафетную палочку из цветаевских рук.

Вот так, отвлекаясь на воспоминания, мы и дошли до горбатого переулочка Котэ Месхи. Здесь жила грузинская муза Арсения Тарковского. «По крутым тротуарам/ Бесконечный подъем./ Затерялся твой дом/ В этом городе старом/...» Впрочем, о прекрасных грузинках – чуть позже. Хотя бы потому, что привели в Тбилиси поэта не они, а все те же стихи Важа Пшавела. Первый же его приезд был творческой командировкой. «С Грузией папа очень тесно связан, был и в 1945 году в Тбилиси для того, чтобы заключать договора о переводах поэта Важа Пшавелы и других грузинских поэтов, - вспоминает дочь поэта Марина Тарковская. - В его записной книжке можно увидеть адреса очень многих деятелей культуры Грузии. Там и поэты замечательные грузинские, в том числе и Симон Чиковани, которого папа особенно любил и переводил... Из грузинской поэзии папа больше всего переводил Важу Пшавела...» А вот – рассказ, насыщенный уже и эмоциями, и деталями, что вполне понятно: он принадлежит самому Тарковскому: «Симон Чиковани, тогда первый секретарь Союза писателей Грузинской ССР, вызвал меня в Тбилиси. Первые две недели в этом чудесном и гостеприимном городе мне довелось принимать участие во встречах с поэтами и деятелями искусств. Это было далеко еще несытное время. Вместе со всей нашей многоязычной родиной недоедала и Грузия: немного вина, немного лобии — но сколько добрых слов, сколько радушия! Грузинское гостеприимство, как известно, не имеет границ... Я переводил на русский язык стихи Симона Чиковани, Георгия Леонидзе, Григола Абашидзе, Иосифа Нонешвили, Реваза Маргиани — прекрасных поэтов, сердечных людей — и перезнакомился чуть ли не с четвертью населения Тбилиси».

А ближе всего Тарковский сошелся с Симоном Чиковани, и говорил, что ему выпало счастье перевести большинство стихов из цикла «Армазские видения». Он утверждал, что Симон был добр и мудр, и не было на свете человека, который неуважительно отозвался бы о нем: «Он был из числа достойнейших людей, каких я знал в жизни». В 1966 году, когда Чиковани не стало, Тарковский написал небольшое эссе, посвященное памяти друга, сумев много рассказать о нем русскому читателю. И не только о том, что, годы спустя после первой встречи, он сам вновь и вновь возвращался к поэзии Симона, переводя стихи из «Осенней тетради». Что Чиковани был широко образованным человеком и хорошо знал мировую поэзию. И болью, и восхищением одновременно пронизаны строки о последних годах Симона, которого тяжелая форма диабета довела до слепоты и смерти. С умением большого поэта, вставив трагические события в считанные прозаические фразы, Тарковский рассказывает, как его друг боролся с недугом. Как жена Марика, сама тяжело больная, «не позволила» себе уйти из жизни раньше мужа и, скончавшись уже после его смерти, завещала развеять свой прах на его могиле. Мы прочтем просьбу Арсения Александровича к читателям - не счесть нескромным его желание «закончить заметку» переводом стихотворения «Листопад и озимый сев». В этом удивительном переводе сплелись воедино таланты двух друзей, русского и грузина:

На седину не поскупилося время
И спело песню сумерек. Иду,
А за спиною — старость, вровень с теми
Платанами, чьи листья как в бреду.

Я здесь косил, да сено ветром сдуло.
О пиримзе, где нежный венчик твой?
Редея, кроны клонятся сутуло,
И в дол схожу я узкою тропой.

Спустя время, Тарковский посвятил другу стихотворение «Ласточки», в котором пишет о Чиковани: «А я любил его, и мне он был как брат...» К ласточкам – просьба: «Я вместо Симона хвалу вам воздаю./ Не подражайте нам, но только в том краю,/ Где Симон спит в земле, вы спойте, как в дурмане./ На языке своем одну строку мою». Конечно же, он снова приезжал на землю, в которой спит Симон. «Я застал братские отношения Тарковского и

Григола Абашидзе, - вспоминает еще один большой друг Грузии, поэт Михаил Синельников, - Григол, бесконечно доброжелательный, высокообразованный, понимавший и в русских стихах, Арсения высоко чтит. Хотел, чтобы Тарковский работал «для Грузии» на грузинской земле, и старался выхлопотать для него квартиру в Батуми. А главной переводной работой, затянувшейся на долгие годы, были тогда переложения лирики Важа Пшавела». Говорят, что поэты – люди простодушные и наивные. Особенно в своем отношении к властям. И именно поэтому их слова и поступки часто оказываются... пророческими. Однажды, на поэтическом вечере в Грузии, вскоре после снятия Василия Мжаванадзе с поста первого секретаря ЦК, Тарковский прочитал свой перевод «Старого льва» в присутствии нового партийного босса Эдуарда Шеварднадзе:

Притомился лев, притомился,
Наступила старость на горло,
Наложила подать на мышцы,
Когти царские поистерла.
На поклон зверье не приходит,
Будто все окрест перемерло/

.....

Приутих недавний властитель.
Сердце старое плачет сирот;
Мнится, он давно уже болен:
На костях ни мяса, ни жира.
И чело его омрачает
Дума о вероломстве мира...

Все были ошеломлены, всем показалось, что это читается неспроста. Скорее всего, Арсений Александрович, в тот момент не думал ни о дипломатии, ни об интригах... Но, согласитесь, дорогие читатели, из нашего с вами сегодняшнего дня, то давнее сочетание «Старого льва» с дальнейшей судьбой человека, при котором оно читалось, выглядит уже по-особому...

И еще – о власти и о Тарковском. А точнее, не только о них. Утверждение «он был истинный рыцарь и кавалер» можно проиллюстрировать рассказом о том, как на юбилей поэта-академика Ираклия Абашидзе были приглашены три переводчика разных поколений. Послушаем, что вспоминает один из них, происходящее стоит того, чтобы к нему приглядеться: «В фойе к нам подошел учтивый Эдуард Амвросиевич и завел приличествующий случаю разговор о проблемах перевода. Вдруг в дверях появились две знаменитые грузинские красавицы, и Тарковский, прервав беседу, ковыляя на своем протезе, ринулся целовать им руки. Удивился небожитель, выпучила глаза охрана, ужаснулись и прекрасные виновницы происшествия. А Тарковский ничего не видел, кроме их невянувшей красоты. Грузинам импонировало и кавказское, дагестанское происхождение Арсения Александровича, и его красивое имя, напоминавшее о легендарном Арсене. И красота Тарковского, и красота его поступков. Был непререкаем его авторитет. Когда однажды к его рукописи были предъявлены редакторские претензии, Григол Абашидзе вознегодовал: «Кто его может редактировать?»

От языка поэзии – к языку цифр: всего в Грузии Тарковский перевел пять тысяч поэтических строк. И среди них нет ни одной пресной или пустопорожней строки, считают специалисты. Он никогда не был халтурщиком в этом ремесле, оно у него превращалось в искусство. Илья Чавчавадзе, Рафиэл Эристави, Сандро Шаншиашвили, Сандро Эули, Галактион Табидзе, Георгий Леонидзе, Иосиф Нонешвили, Михаил Квливидзе... Синельников выделяет особенные удачи переводчика, и прежде всего - переложения народной поэзии: «Тарковскому удалось и воссоздать лаконичную яркость стремительных диалогов, и передать песенные интонации... Самому Арсению Александровичу нравились его переводы из любимого Чиковани, он иногда читал их вслух, вспоминая Симона. Но в «Волшебные горы» вошли и другие выдающиеся

переводы Тарковского. Например, «Голос у Голгофы» Ираклия Абашидзе, стихотворение потрясающей силы. Сванские стихотворения Реваза Маргиани с их корневой кряжистой мощью, с переливающейся в них музыкой народного слова. И «Омар Хайям» Анны Каландадзе... Особое чувство у меня к переводам Тарковского из Григола Абашидзе. «Даркветская луна», «Град», «Пускай безумец буду я для мира...», «Правителю Дзевыху» волновали в отрочестве и сводили с ума своей красотой задолго до личного знакомства и с автором, и с переводчиком. Эти стихи и сейчас изумляют меня и пьянят». Вот такую цепочку сложила судьба Тарковского от Цветаевой и ее переводов Важа Пшавела...

Но как может настоящий поэт приехать в Грузию и не влюбиться? Так что, вполне естественно, литературоведы пишут про ту пору жизни Арсения Александровича, которую по нынешним стандартам можно назвать Тбилиси-45: «Этот период в жизни Тарковского, в связи с некоторыми его стихотворениями, сопровождается множеством любопытных рассказов о прекрасных грузинках». Один из таких рассказов – о чувстве, вспыхнувшем к обожаемой всей Грузией киноактрисе Нато Вачнадзе. Скорее всего, это – полупоэма, смешавшая то, что было и то, что вполне могло произойти. Но, что бы ни случилось на самом деле, история сия прекрасна и трогательна. А пересказывает ее тот же Михаил Синельников, которому совместные с Тарковским поездки в Грузию «памятны рассказами Арсения Александровича о его старых влюбленностях, о нержавеющей любви».

Итак: «Пылко любил он и Нату Вачнадзе... Однажды в писательском ресторане Ната проходила мимо столика, за которым сидел Тарковский. Арсений Александрович успел сказать: «У меня есть мечта идиота, что вы со мной немного посидите!» Через некоторое время они решили пожениться. Наверное, это была бы самая красивая пара XX столетия. Специально для того, чтобы выйти замуж за Тарковского, Ната приезжала в Москву. Но история вышла не менее смешная, чем грустная. У поэта были единственные приличные брюки, и предыдущая жена, развод с которой был решен, и которая знала о намерениях Тарковского, спешившего на свидание, вызвалась эти брюки выгладить. Положила на них раскаленный утюг, и он провалился сквозь брюки. Имелись еще потешные короткие брючки, в которых никак нельзя было идти к Нате... Много лет спустя в гостях у Арсения Александровича были молодые грузинские кинорежиссеры, друзья Андрея, и вдруг по глазам он угадал в одном из них сына Наты Вачнадзе». Еще одна удивительная цепочка, связанная с Тбилиси. Кстати, заглянем в записную книжку Тарковского. По свидетельству его дочери, «там и режиссер Николай Шенгелая и его жена Ната Вачнадзе, известная грузинская актриса, красавица, которая погибла в авиакатастрофе».

И еще одна тбилисская любовь Тарковского. Та самая, из переулка на горном склоне, которой посвящено знаменитое стихотворение «Дождь в Тифлисе».

Сеет дождь из тумана,
Капли падают с крыш.
Ты, наверное, спишь,
В белом спишь, Кетевана?

В переулке твоём
В этот час непогожий
Я — случайный прохожий
Под холодным дождем.

Да, ее звали Кетеван Ананиашвили. Журнал «Русский клуб» уже подробно рассказывал в прошлом году об этой женщине, с которой Арсения Александровича познакомил поэт Георгий Леонидзе. И которая очаровала гостя не только красотой, но и любовью к русской культуре, обширными литературными познаниями. Молва гласит, что союзу с Арсением воспротивилась ее семья. «Та же черная верность обетам/ И платок,

ниспадающий с плеч...» Ну, а мы остановились у ее дома, чтобы проследить еще одну цепочку людских судеб. Кетевана стала заслуженным педагогом Грузии, журналистом, возглавляла литературный кружок Республиканского Дворца пионеров и школьников. «Постепенно создав прочную традицию, она вырастила целые поколения поэтов, прозаиков, критиков», - сообщает поэт и известный литературовед Эмзар Квитаишвили. От себя добавим: в том числе и поколение, которое дружило с сыном Арсения - Андреем. И непредсказуемая судьба устраивает так, что сын, бывая в Тбилиси, приходит все в тот же переулок Котэ Месхи - в дом, соседний с тем, к которому отец провожал свою тбилисскую музу.

«Наш переулок, несмотря на то, что в нем всего лишь 13 домов, знают далеко за пределами Тбилиси и даже Грузии. Да, здесь жило немало удивительных, неординарных личностей. Вот дом художника фильма «Покаяние» Георгия Микеладзе... чуть повыше в гору проживал Ило Девдариани, вор в законе, известный больше по кличке «Лимон», это о нем в романе «Белые флаги» написал Нодар Думбадзе. И выше всех, в самом конце переулочка, возвышался трехэтажный дом, в одной из квартир которого царствовал великий Сергей Параджанов». Так представляет нам из флоридского далека этот удивительный уголок удивительного города музыкант Юрий Волович, бывший музыкальный режиссер Тбилисского ТЮЗа и создатель знаменитого в 1970-е детского хора «Ия» («Фиалка»). Остается еще вспомнить, что улица и переулок носят имя выдающегося тифлисского актера и режиссера Котэ Месхи.

Знал ли Андрей что по этой же брусчатке ходил его отец? Вряд ли. Просто, новое поколение грузинских деятелей культуры, в том числе и возвращенное Кетеваной Ананиашвили, приводило сюда своих русских друзей. К Параджанову. Не будем заглядываться сейчас на невероятные встречи, которые организовывал здесь непредсказуемый Серго всем своим гостям, а тем более – друзьям. Об этом написано достаточно много. Ведь это был дом, в который приходили Франсуаза Саган, Тонино Гуэрра, Марчелло Мастоияни, Майя Плисецкая, Владимир Высоцкий и еще многие-многие. Это был легендарный дом. А вот к поступку тоже приходившей сюда Беллы Ахмадулиной приглядеться стоит. Тем более, что связан он с тем же политическим деятелем, которого мы уже дважды видели на этой литературной странице. Год 1982-й, Параджанов вновь арестован, на этот раз - в Тбилиси, по обвинению в спекуляции. С просьбой о том, чтобы «такой великий художник был осужден условно», Ахмадулина, вместе с кинематографистами Резо Чхеидзе, Эльдаром Шенгелая и другими деятелями культуры, обращается не к кому-нибудь, а прямо к Эдуарду Шеварднадзе. Так и происходит, кинорежиссера освобождают в зале суда. А на встрече с Беллой Ахатовной первое лицо Грузии предлагает Ахмадулиной дачу в Гульрипши. Знаете, чем был обоснован ее отказ? «Я люблю всю Грузию, зачем мне ее малая часть?»

Убедившись, что поэт и за пределами России бывает «больше, чем поэт», заглянем прямо в дом Параджанова, вышедшего из-за решетки, во многом, благодаря своим грузинским, русским, зарубежным друзьям. И мы услышим, как в нем, сквозь время, удивительным образом сплетаются все те же имена и фамилии. Гарри Кунцев, звукооператор, работавший с Параджановым, описывает: «В комнатке находилось самое любимое. На стенах - рисунки, сделанные в тюрьме. На подставках — нежнейшие шляпы, созданные в моменты особого вдохновения и названные все вместе «Памятью о несыгранных ролях Нато», той самой легендарной Наты Вачнадзе, которая навсегда осталась символом красоты грузинской женщины, Нато, которую он обожал. В углу - манекен в полный рост. Мужчина, похожий на самого Параджанова, держит на руках погибшего юношу. Юноша тот - Тарковский». И объяснение: «Перед Андреем Параджанов преклонялся в открытую». «Мне ничего не надо - только одно: пригласите к себе Тарковского, пусть побудет возле вас - это больше, чем праздник...», - напишет Сергей своим друзьям из тюрьмы. Из письма племяннику Георгию: «Ты просишь рассказать меня о Тарковском. Тарковский мой друг. Он был у нас в гостях, ну ты помнишь. Когда мама испекла торт клубничный. Я

считаю, что он гений». Георгий был свидетелем интересной сцены: «Это было в Тбилиси, когда Тарковский приехал на десять дней с ретроспективой своих фильмов. А у нас в доме было два одинаковых туалетных набора, флаконы разной формы, - один розового цвета, а второй изумрудного. Совершенно одинаковые, очень старинные наборы. Параджанов и Тарковский соревновались: кто выстроит из этих флаконов наиболее интересную композицию. Они называли это «проверкой генов». Творческих». И еще одно: именно Андрею Сергееву Параджанову и посвятил свой последний фильм «Ашик-Кериб».

Вот такая цепочка протянулась от последнего посвящения Цветаевой – Тарковскому-старшему до последнего посвящения Параджанова – Тарковскому-младшему. Цепочка из замечательных имен и примечательных событий, замкнувшаяся в маленьком переулке на склоне Святой горы в Тбилиси.

СТРАНИЦА ПЯТАЯ

Чем дальше мы бродим по тбилисским мостовым, тем больше убеждаемся: на них все, удивительным образом, связано. Тут нет случайных пересечений улиц и переулков, сами их названия словно пытаются рассказать нам непредсказуемые истории о том, как переплетаются дела и судьбы людей из разных эпох. О том, как что-то, созданное или только начатое одним человеком, вдруг продолжается другим. Причем, нередко, через многие годы. И нам остается только послушно шагать с одной мостовой на другую, внимательно вслушиваясь в названия и вглядываясь в мемориальные таблички.

Вернуться в Сололаки с Мтацминды можно двумя путями. И к первому из них – по улице Даниила Чонкадзе – от дома Сергея Параджанова всего два шага. Тбилиси интуитивно связал два своих старых района этими именами – то, что волновало писателя 19 века, продолжилось работой кинорежиссера века 20-го. Судьба была неблагоприятна к писателю-разночинцу Чонкадзе, подготовившему, как считают литературоведы, почву для критического реализма в грузинской литературе. Когда он заканчивал училище, убили его отца – священника в североосетинском селе, позже его жена умерла от туберкулеза, оставив Даниила с маленьким сыном на руках, а через несколько месяцев та же болезнь унесла и его самого. Да и прожить-то он успел всего 30 лет. В общем, легко понять, почему с фотографии на нас смотрит такими грустными глазами человек, кажущийся пареньком во «взрослом» скюртуке. И трудно поверить, что работы этого юноши навеки оставили след в истории сразу трех народов. Он составил первый русско-осетинский словарь, до наших дней не потерявший своего значения, собрал осетинские пословицы и сказания, уже посмертно изданные в Санкт-Петербурге в качестве «Приложения к XIV тому «Записок Императорской Академии наук». А главное – за год до ухода из жизни опубликовал повесть «Сурамская крепость», сделавшую его классиком грузинской литературы. Прошло ровно 125 лет после появления этой повести в журнале «Цискари», и на экраны Грузии, а затем и всего мира вышла «Легенда о Сурамской крепости» Параджанова. Реалистичный слог повествования о том, как в крепостной стене был замурован прекрасный юноша, в кино расцвел, по словам знаменитого литературоведа Юрия Лотмана, «смысловой насыщенностью кадров».

А ведь от древней крепости на сололацкие мостовые тянется еще одна ниточка. Прямо к другому знатоку и исследователю народного творчества, замечательному поэту и переводчику, уникальному человеку Вахушти Котетишвили. И он посвятил теме, поднятой Чонкадзе, одну из своих работ – «Происхождение легенды о Сурамской крепости и ее параллели в мировом фольклоре». И именно по улице, на которой – табличка с его фамилией, пролегает второй вариант нашего пути с Мтацминды. Правда, названа эта крутая улочка в честь отца Вахушти – Вахтанга, ученого и общественного деятеля, расстрелянного в 1937 году. Его символическая могила – в главном Пантеоне Грузии, на горе Мтацминда, на камне – имена еще нескольких уничтоженных НКВД и неизвестно, где погребенных выдающихся представителей грузинской культуры. И не только об отце, а обо всех, лежащих в этом Пантеоне, звучат слова Вахушти

Котетишвили: «Коммунисты придумали – «советская интеллигенция». Они так объясняли: человек, который занимается интеллектуальным трудом – интеллигенция. Я бы называл – не интеллигент, а духовная аристократия. Вот таких духовных аристократов очень мало осталось, но они – они живучие. Аристократизм уничтожить нельзя». В первую очередь, эти слова относятся и к тому, кто их произнес. «Не царевны повсюду, а лягушки-квакушки. Если хочется чуда – постучитесь к Вахушти». Такой экспромт написал в 1980-х, прямо на салфетке, Андрей Вознесенский. Впрочем, в дом Вахушти стучаться и не надо было – двери не запирались.

А вот хозяин дома достучался до сердец стольких российских литераторов! И самым близким – не только другом, но и старшим братом считал замечательного журналиста, писателя и популяризатора науки Ярослава Голованова. Почему братом? Перенесемся в конец 1960-х, на родину Котетишвили – в Хевсуретию. Именно там Вахушти и Ярослав, приехавший в командировку, делают себе надрезы между большим и указательным пальцами правой руки и смешивают кровь в ладонях друг друга. А потом закрепляют братание вином из старинного рога, украшенного серебром с голубой эмалью. И Голованов увозит этот рог в Москву. Теперь – еще один шаг сквозь время. Василий – сын уже скончавшегося Ярослава, остался без работы, его семья 4 месяца сидит без денег, и он решает продать рог, не зная его историю. Попыток сделано немало, казалось, рог вот-вот продается, но каждый раз все срывается. И Василий делает вывод: рог не хочет уходить из дома его отца. Только после этого он узнает от матери: рог связан с ними кровными узами. А потом, побывав в Тбилиси у Вахушти, он ошеломлен: «Благодаря ему, я понял, что, как и все сыновья, мало знал своего отца... Здесь, в Грузии, я выслушивал о нем настоящие легенды. Ему повезло: таких исполинов, как батано Вахушти, он застал в расцвете таланта и сил. Даже мне повезло! Ибо и сейчас у этого немоющего с виду старика было чему поучиться: достоинство, жесты, эмоции – целый фонтан прекрасных эмоций, целительное воздействие которых я не испытывал на себе в атмосфере Москвы целые годы! Какая душа была нужна, чтобы взрастить такие чувства!»

А теперь – слово самому русскому брату грузинского писателя Ярославу Голованову. На дворе – 2001 год. «В Москву приехал Вахушти с сыном. Он совсем лишился голоса, ему вставили трубку, но без клапана, и когда он говорит, он зажимает дырку в горле. И это – мой младший брат Вахо, который был лучшим тамадой в Тбилиси! Я привез их в Переделкино и закатил пир в их честь. Приехал Юрий Рост, подошел Игорь Кваша. Получился замечательный вечер воспоминаний... Он пил с Игорем водку, Рост – вино, а я – минералку. Игорь, который не был знаком с Вахо раньше, совершенно в него влюбился». Что ж, знаменитого артиста можно понять – общаться с Вахушти и не очароваться им было просто невозможно. А уж, о женщинах – и говорить нечего. Вот, на Пицунде, поэтесса Анна Бердичевская уговаривает... барабульку:

И хотя он безобразник,
Стать ему обедом - праздник,
Потому что он поэт.
На обеде этом самом
Будешь рыбкой, буду дамой.
Станем вместе мы форсить,
И услышим мы Хайяма,
Может статься, на фарси.

Все правильно, стихи Хайяма в оригинале для Котетишвили – часть жизни. Востоковед по образованию, он был профессором кафедры иранской филологии Тбилисского университета, государственная комиссия Ирана включила его в шестерку лучших переводчиков с иранского языка, правительство этой страны наградило его грамотой. Он объяснял: «Мой отец был человеком ренессансного типа... Блестящий оратор, ученый,

был и философом, филологом, литератором, фольклористом, писателем и поэтом, и так далее, и живописцем, скульптором. И ему все это удавалось... И от отца я унаследовал эту разбросанность, что ли». В общем, он делал переводы еще с немецкого и голландского, получал литературные премии во Франции, Австрии и, конечно же, на родине. И очень много переводил из русской поэзии. С особой требовательностью к себе.

Послушаем хрипловатый, надтреснутый от болезни голос Вахушти, который утверждает, что искусство перевода – это особое искусство, великая гуманная миссия между культурами народов, без посредников. Кому, как не ему, знать это – человеку, переводившему Иннокентия Анненского, Максимилиана Волошина, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского... А Марина Цветаева вообще была его любимым поэтом, он считал, что в мировом масштабе она занимает совершенно обособленное место в поэтическом мышлении. Именно ее он начал переводить первой. А вот переводы Бориса Пастернака поначалу никак не давались. Вахушти признавался: «Несмотря на то, что я с самого детства его стихи знаю наизусть, я начинал переводить его, но все рвал и выкидывал. Так продолжалось 45 лет. И вдруг, недавно, просто сел и начал переводить. И 20 стихотворений подряд перевел за одну неделю». Да, все его переводы блестящи. А вот оригинальные стихотворения на русском он писал очень редко. Одно из них посвящено любимой женщине, поэтому рука так и тянется к листку – интересно, какие слова он нашел в русском языке для самого дорогого человека? Но, давайте, сделаем это позже – стихотворение рождено расставанием после 15 лет счастливой семейной жизни. То есть, в черный для него день. Так что, мы придем к этому стиху, пройдя через другие черные дни Вахушти Котетишвили.

В последние годы жизни он очень тяжело болеет... В огне гражданской войны начала 1990-х сгорает дом, уничтожена огромная уникальная библиотека, рукописи его сочинений. Да, сын восстановил дом, постаравшись, чтобы он опять был истинно тбилиским, но, все же, это – уже не отчие стены... Открываем газету «Алиа» за март 2007 года: «Профессор Вахушти Котетишвили чуть было не умер. Причиной стало отключение электроэнергии из-за задолженности. Он присоединен к дыхательному аппарату, который работает на электричестве. Один из сотрудников ТЭЛАСИ отключил свет, Котетишвили стало плохо, и его перевезли в больницу, где проведенные процедуры обошлись профессору в 900 лари. Такой суммой Котетишвили не располагает, и за помощью он обратился в Министерство здравоохранения. Там ему ответили, что помощь выделяется только в том случае, если обратившийся находится за чертой бедности». От комментариев к этому сухому сообщению воздержимся – они могут содержать только ненормативную лексику. Справедливости ради, надо сказать, что другая государственная структура – Министерство культуры – сделала совсем иной шаг. А конкретно, через год после этого случая восстановила традиционные вечера грузинского фольклора, которые более 30-ти лет назад основал Котетишвили. А издательство «Диоген» в прошлом году установило для переводчиков премию его имени. Но, все равно, очень хочется посмотреть в глаза тому сотруднику электроснабжающей компании и тем чиновникам Минздрава...

И – последняя трагедия человека, который считал, что русско-грузинские связи – пример благородных отношений и между интеллигенцией, и между простым народом. «Что касается русско-грузинских культурных связей, об этом даже и не стоит говорить, потому что ясно, какие у нас были культурные связи, какие у нас были каналы духовности, духовного общения, и что значит для грузин русская культура и, по-моему, и для русских тоже. Потому что не зря же Пастернак, Мандельштам, Марина Цветаева и другие великие русские поэты переводили грузинскую поэзию на русский язык. Так что это ясно и всем известно». Сказавшего эти слова Вахушти Котетишвили хоронили на второй день российско-грузинской войны 2008 года. Отпевали его в храме Квашвети, рядом с которым шел антивоенный митинг...

А теперь – стихотворение. То самое, одно из немногих на русском:

Пятнадцать лет, пятнадцать лет.
 Для вечности ничтожно мало,
 А в жизни человека век,
 И века этого не стало.
 Пятнадцать лет, пятнадцать веков,
 Пятнадцать пестрых певчих весен.
 И что осталось? Ложный смех
 И тяжесть мхом обвитых весел.
 А жизнь проходит, но не та,
 Все как-то глупо, сложно, ложно.
 Жизнь велика, но и ничтожна,
 В ней высший смысл и суета.

Дом на улице Котетишвили сейчас называют не иначе, как «домом Вахушти». И никому ничего не надо объяснять, даже тем, кто далек от поэзии и фольклора. Потому что этого человека помнят не только за научную и литературную работы, а и просто за то, что он был настоящим тбилисцем. Вместе со своим городом он и поднимал тосты, и голодал, ежился от холода и оживал с весенними надеждами.

«Настоящий тбилисец и другие» - так называется фильм, родившийся благодаря другому писателю и поэту. Именно к его дому мы сейчас подходим. Правда, на доме №10 по улице Ингорква пока только одна памятная табличка, и на ней – совсем другое имя. Великого режиссера Котэ Марджанишвили. Снимем шляпу перед именем реформатора грузинского театра. Это имя тесно связано и с Россией. А конкретно – с постановками в московских Художественном, Малом и Театре Корша. С созданием Свободного театра в Москве и Театра комической оперы в Петрограде. С руководством театром «Буфф» на берегах Невы и Ростовским театром. Но все это – театральные страницы, а мы перелистываем литературные. И поэтому остановились здесь, чтобы увидеть, как в начале 60-х годов прошлого века из квартиры, где некогда жил великий режиссер, выходит молодой человек.

Он отправляется в Москву, чтобы оказаться в первом наборе ставших, с годами, знаменитыми Высших сценарных курсов. Туда мог попасть лишь представитель каждой из республик СССР. Он должен был иметь хорошие рекомендации, высшее образование. Целых полгода по стране искали самых достойных и, наконец, нашли. Так открывается еще одна страница сценарного искусства грузинского кинематографа. Молодого человека зовут Леван Челидзе, в литературе он остался не только, как киносценарист с особым, легко узнаваемым почерком. Это – почерк писателя и поэта, который на тбилисской, на грузинской почве говорил об общечеловеческих ценностях. «Написал такой сценарий, что ахнули даже москвичи». Это – уже слова бабы Маро из одноименного рассказа Левана, в которой «жило чувство глубочайшей уверенности, что всегда и везде торжествует правда». Они с полным основанием относятся и к самому автору.

По сценариям Челидзе снято много кино- и телефильмов, забыть которые просто не сможет тот, кто хоть раз видел их. Ахнуть же не только москвичей, а всю некогда громадную страну и даже зрителей за ее пределами заставила «Первая ласточка» - романтично-ироничная притча о том, как создавался грузинский футбол. Свидетельство тому – призы (в том числе и главные), полученные этой лентой на международных фестивалях в Испании, ФРГ и Иране, всесоюзных фестивалях во Фрунзе и Минске, диплом Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ)... А «Королей и капусту» телевизионные киноканалы России крутят и по сей день. Еще бы! Там, в расцвете сил, блистают Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Николай Караченцов, Кахи Кавсадзе, Эрнст Романов, звучат на музыку Владимира Дашкевича песни опального в те годы Юлия Кима, замаскированного под псевдонимом «Юрий Михайлов»... Всех их объединил

сценарий Левана Челидзе. И, право слово, самому автору литературного первоисточника – О’Генри не было бы стыдно за этот сценарий.

Кстати, это – единственная работа Левана, в которой он взял за основу чужое литературное произведение. Все остальные сюжеты – только из реальной жизни, они пришли на экран из его рассказов и повестей, герои которых окружают нас у подъезда старого, уже разрушающегося дома. Это – люди разных национальностей: грузины, армяне, русские, греки, курды. Они остроумны и неунывающие, порой непутевы, но поистине артистичны. Они – бессребреники, зачастую творящие настоящие безумства на улицах родного города. Например, соревнуются в мастерстве «соскоков с поворотом» из старого тбилисского трамвая или, в разгар антиалкогольной кампании, распивают шампанское в буфете Оперы, мечтательно беседуя о феномене Леонардо да Винчи... И делают еще много чего, что покажется невероятным нынешнему прагматичному веку. Сохраняя при этом неуловимое очарование того Тбилиси, который запомнили все, побывавшие в нем.

Надо ли говорить, что и сам Леван был одним из таких людей? То, что это засвидетельствуют все, знавшие его в родном городе – несомненно. Стоит только вспомнить ярко-голубые глаза, то подчеркнуто наивно распахнутые, то хитро прищуренные перед очередным розыгрышем. Но, может, тбилисцы просто пристрастны к другу, коллеге, соратнику по застолью? Что ж, послушаем его московского однокашника Олега Осетинского: «Леван писал удивительные стихи на русском языке, очень простые и самые прекрасные... Он, несмотря на свою принадлежность к интеллигентнейшей семье людей искусства, всегда хотел быть сам по себе, пробовать себя, так сказать, на зуб жизни. Катался на подножках трамваев, вел свободный образ жизни, не раз попадал в передраги. Он мучительно, по-настоящему видел жизнь... Леван Челидзе принадлежит к неограниченным литераторам. Он никогда себя не «проталкивал», не рекламировал и никогда не ходил в галстук. Он был щедрым, душевным человеком, таких сейчас мало...»

Да, и в Москве, и в Тбилиси Леван оставался, словно сошедшим с собственных страниц. Вполне естественно, что один из самых характерных для такого человека сценариев назывался «Настоящий тбилисец и другие». В фильм вошли новеллы-зарисовки, что называется, с натуры. Натуры, увы, уходящей. Новая эпоха, как и положено, победно вытесняет прежнюю – со всеми ее старыми домиками, непонятными ныне взглядами на мир, «странными» идеалами и героями. Влюбленный в свой город, Леван пророчески писал еще два с лишним десятилетия назад: «Время смело все... и, кажется, весь город, потому что он уже не Тифлис, тот единственный и неповторимый, а просто одна из столиц союзных республик с широкими улицами, с новыми жилыми массивами, с декоративными кварталами, с непонятными и никому не нужными площадями. Куда же делся город моего детства? Где его искать?» Это – фраза из его единственного изданного сборника прозы «Всеми забытая история». Но, ей богу, до сих пор можно позавидовать людям, которые впервые откроют для себя эту книгу – целый мир доброты, блестящего юмора и тонких размышлений. А это – из его стихов:

Тихое утро... блеклый рассвет...

Как это странно – нас уже нет.

Все, как и раньше, все, как и прежде,

Те же иллюзии, те же надежды,

.....

Влажный бульвар окаймил парапет....

Невероятно – нас уже нет.

Те же долины, синие горы,

Те же клочущие разговоры...

Жирные тучи, грязное небо...

И непонятно – ты был или не был.

Кто мне откроет вечный секрет:
Чьи это слезы, раз нас уже нет.

«И непонятно – ты был или не был» - об этом, наверное, задумывается каждый. Люди, которых мы вспоминали на этой странице, не просто были. Они остались и в литературе, и в нашей с вами жизни. Остались фольклорные фестивали и переводы, стихи и фильмы. Вот только нет памятных табличек на их домах. Впрочем, это зависит уже лишь от нас с вами...

СТРАНИЦА ШЕСТАЯ

Что только не пригрезится в вечернем, морозном воздухе, когда со всех сторон ворожат рождественско-новогодние огни! Вот и сололакские поникшие особнячки-старожилы распрямляются, как в стародавние времена. Исчезают со стен морщины трещин, обретает былое величие литье решеток и перил, преобразаются подъезды, которые некогда были воистину парадными. Того и гляди, подъедут к ним экипажи на дутых шинах, и важный швейцар торжественно распахнет массивную дверь... Вот, скажем, прямо у этого дома на углу улиц Леонидзе и Мачабели. В прошлом веке мы сказали бы: на углу Сололакской и Сергиевской. Именно в самом начале того века, а точнее, в 1900 году, так оно и происходило. Фамилия семейства, выгружавшего вещи, чтобы поселиться в доме (тогда он назывался просто: «дом инженера Мирзоева в Сололаках»), никому не была известна в Тифлисе. Разве что, только чиновникам местного отделения «Северного страхового общества», куда из Питера перевелся глава семьи. И была эта фамилия – Гумилевы. А самому младшему ее носителю Тифлис наворожил удивительные преобразования.

Что же заставило Степана Яковлевича, корабельного врача в отставке, служившего на военных судах, в том числе и на ставшем потом легендарным «Варяге», покинуть столичные места, чтобы столь резко изменить жизнь и оказаться в Грузии? Да, то, что извечно руководит поступками всех родителей, включая и нас с вами – забота о детях. У старшего сына, Димы, появились симптомы туберкулеза, и врачи посоветовали южный климат. Но оказалось, что еще больше Тифлис помог младшенькому – Коле, подарив этому «гадкому утенку» поистине волшебное преобразование. В ночь, когда он родился, свирепствует буря, и старая кронштадтская нянька предсказывает: «У Колечки будет бурная жизнь». Сегодня мы знаем, что так оно и случилось, но в детстве поэта ничто на это не указывало. Совсем наоборот. Мало того, что слабый, худенький ребенок мучается головными болями, доктора диагностируют еще и повышенную деятельность мозга, заявляют, что ему пока рано заниматься в подготовительном классе. Мальчик быстро утомляется, любые внешние явления, в том числе и городской шум, ослабляют организм, доводя до глубокого сна. Колю забирают из гимназии, нанимают ему домашнего педагога. И впервые в его жизнь входит слово «Тифлис» - занимавшийся с ним студент физмата Багратий Газалов был из этого города. Правда, он не сумел привить мальчику любви к математике, но очень подружился с ним. И именно он увлек будущего путешественника зоологией, а, в особенности, географией.

Повзрослев, Гумилев напишет в стихотворении «Память» о том, каким был в те годы:

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,

Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака –
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

Действительно, сегодня миру трудно представить столь слабым и болезненным участника смертельно опасных путешествий по Африке, дважды кавалера высшей боевой награды – Георгиевского креста, человека, в разгар чекистских репрессий, открыто заявлявшего: «Я – монархист». А, ведь, именно Тифлис открыл ему путь к этому – в доме на углу двух сололакских улиц исчезают и головные боли, и сонливость, и вата в ушах, а горные городские окрестности становятся местами, столь необходимыми юношеской романтике. Даже с учебой дела идут на лад. Почему «даже»? А потому, что и по состоянию здоровья, и в силу своего характера, до переезда особых успехов за партией Николай не достиг. В петербургской гимназии Я.Гуревича его больше увлекали сражения оловянных солдатиков. Заглянем, хотя бы в воспоминания преподавателя немецкого языка Ф.Фидлера: «...Все учителя считали его лентяем. У меня он всегда получал одни только двойки и принадлежал к числу наименее симпатичных моих учеников». Всего же, в 4-м классе Коля нахватал двоек еще и по греческому, латинскому, французскому. Так что, педагогический совет постановляет оставить его на второй год. Но вновь в 4-й класс он идет уже в Тифлисе – во 2-ю мужскую гимназию. И не стоит удивляться, что при этом ему уже четырнадцать лет – гимназистом-то он стал в десять. В то время это было обычным делом, в гимназиях учились восемь лет, и отправлять за парту пятилетних малышей, как ныне, было попросту немыслимо.

Кстати, именно в этом абзаце гумилевской страницы нам придется сделать еще одну сноску – чтобы внести свою первую, чисто тбилискую, лепту в исследования жизни поэта. А конкретно – вежливо поправить уважаемых профессионалов, ведущих эти исследования. Многие из них ссылаются на известного московского литературоведа и издателя Евгения Степанова, сообщающего, что 2-я мужская гимназия находилась на Воронцовской набережной. Однако эта набережная перестала существовать за год до приезда Гумилевых, в 1899-м, превратившись в Великокняжескую улицу, где и учился наш герой. В красивом здании, через десятилетия вошедшем в историю города как Нахимовское училище, а сегодня принявшем Министерство образования. Но это – так, к слову, истины ради.

Конечно, та гимназия была хороша, ведь попечителем ее был сам Михаил Арамянц, успешный промышленник и великий меценат, именем которого тбилисцы и по сей день называют крупный больничный комплекс. И, все-таки, через полгода, отец переводит Колю в одно из лучших учебных заведений Российской империи – знаменитую Тифлискую 1-ю мужскую гимназию на Головинском проспекте. Там, кстати, уже учился его брат. И что же? У Николая – ни одной двойки! Правда, натуру не изменишь – по всем языкам и прилежанию – тройки. Но зато по истории, географии и поведению – «отлично». Что ж, именно по последним трем из этих предметов его годами экзаменовала уже сама жизнь. И с теми же оценками!

Тем не менее, среди нарушителей гимназической дисциплины он однажды оказался – уже в 6-м классе. Запись в «Общем кондуите» от 9 мая 1903 года свидетельствует об ужасной провинности: «Был в театре без разрешения и в блузе». В графе «наказание»: «Оставлен на 2 часа в воскресенье». Вот, такие преступления и наказания... Что же касается столь не дававшегося Коле греческого языка, то переэкзаменовка по нему все же будет в 5-м классе. И, чтобы сдать ее, надо пройти через еще одно преображение – в самостоятельного путешественника. Он впервые в жизни, в одиночку, совершит большую поездку – из имения Березки, купленного семейством в Рязанской губернии, в Грузию.

Вообще же, именно после того, как Николай избавляется от этого «хвоста», фактически и начинается его самостоятельная жизнь. До приезда родителей он живет у гимназического друга Борцова. А друзья по юношеской учебе, да еще в таком городе, как Тифлис – предмет особого разговора. Они появляются у Гумилева в первые же полгода пребывания в лучшей гимназии Грузии. О некоторых из них история сохранила для нас лишь фамилии. О Борцове, например, известно только то, что он был одним из самых близких и в 1912 году приезжал к Гумилеву и Анне Ахматовой в гости, в петербургские меблированные комнаты «Белград». О Глубоковском – лишь то, что он впоследствии стал художником. А вот приглядеться к двум парам братьев – Кереселидзе и Легран – мы сможем.

Итак, Иванэ и Давид, сыновья штабс-генерала Георгия Кереселидзе, кстати, выпускника той же самой славной гимназии. Старшему из них дали имя в честь знаменитого деда – одного из основателей грузинского театра, публициста, издателя первого журнала «Цискари». А еще позавидуем списку дедовских друзей: великий француз Александр Дюма, выдающийся грузинский поэт Александр Чавчавадзе и его дочь Нина – вдова Грибоедова, известный русский художник Григорий Гагарин, писавший и восстанавливавший фрески в церквях Грузии и оставивший интереснейшие ее зарисовки... Увы, сразу после столь блистательной семейной страницы – совершенно иная, в черной окантовке. Иванэ Кереселидзе-младший – среди юнкеров, пытающихся остановить 11-ю Красную армию, вступившую в Грузию. И его расстреливают в Гори вместе с соратниками. Эхо этого расстрела отдается под Питером, где в тот же самый год перед палачами стал друг его юности Николай Гумилев. Младший брат Давид, тоже юнкер, чудом спасся, был арестован в 1937-м, выпущен и погиб в автомобильной катастрофе.

А вот заводи́ла из второй пары братьев, друживших в Тифлисе с Гумилевым, оказался в лагере тех, кто расстреливал. Биография Бориса Леграна обычна для «разрушителей старого мира». Еще в гимназии – увлечение политикой и вступление в РСДРП, офицерский чин, участие в октябрьском перевороте. Дальше – больше: комиссар Петроградского окружного суда и Судебной палаты, заместитель наркома военно-морских дел РСФСР, один из организаторов обороны Царицына вместе со Сталиным, председатель Реввоентрибунала РСФСР, первый полпред РСФСР в Грузии, Армении и Азербайджане после их советизации... А свой бурный жизненный путь этот многогранный революционер заканчивает заместителем... директора Всесоюзной академии художеств, поработав до этого еще и директором Эрмитажа! И хотя жизнь раскидала его с Гумилевым по разным дорогам, судьба, все-таки, пусть и косвенно, сводит двух бывших гимназистов с Головинского проспекта. Будучи российским полпредом в Тифлисе, друг гумилевской юности Легран поддерживает оказавшегося здесь друга зрелого Гумилева – Осипа Мандельштама, подобрав ему непыльную работу – делать вырезки из газет. И в сентябре 1921-го именно Легран сообщил Осипу Эмильевичу, что Николай Степанович расстрелян.

Но, давайте отлистаем назад эти страшные страницы и вернемся в то время, где все это – еще впереди. А Давид, Иванэ, Борис и иже с ними – просто гимназисты, «пылкие, дикие», как называл их Николай, которому нравились в друзьях именно эти качества. Ну, а его самого Тифлис в очередной раз преображает – во «второго» героя стихотворения «Память», которое мы уже начинали читать:

И второй... Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь – его подруга,
Коврик под его ногами – мир.

Он совсем не нравится мне, это

Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

Так, что же это за мир на «коврике под ногами» его, 15-17-летнего? Мир уже довольно самостоятельного человека, в чем-то уже определившегося, а в чем-то – продолжающего поиски со всей пылкостью юности. Хотя и немного, но, все-таки, серьезней относясь к учебе, он готовится с репетитором к экзаменам за 6-й класс, берет и уроки рисования, увлекается астрономией. Не может не сказаться и влияние «пылкого, дикого» вольнодумца Бори Леграна, который пытается приобщить друга к политике – Николай даже начинает изучать Карла Маркса, но очень быстро оказывается, что на «коврике под его ногами» нет места политике. Зато для поэзии – это уже огромный, расшитый всеми цветами ковер. Первые попытки рифмовать Коля сделал еще в 6 лет, сразу же, как научился читать и писать. Ахматова предлагает нам такой отрывок из «творчества» 6-летнего Гумилева: «Живала Ниагара/ Близ озера Дели,/ Любовью к Ниагаре/ Вожди все летели». Ясно, что здесь и речи не может быть о какой-либо художественной ценности, но поражает, что уже тогда Гумилева влекла экзотика заморских стран. Потом появились басни, а с 12-ти лет – тетрадка стихов, которая пополняется и в Тифлисе. Конечно же, в этом пополнении, да и не только в нем, много подражательного – сказывается влияние модного тогда Семена Надсона. Заглянем, хотя бы, в альбом одной из окружавших его девушек: «Когда же сердце устанет биться,/ Грудь наболевшая замрет?/ Когда ж покоем мне насладиться/ В сырой могиле придет черед?»

Согласимся, что строки эти далеки от тех, к которым мы привыкли у Гумилева. Но, ведь, это – возраст, самое начало пути. Да и написано для девичьих альбомов, которых, кстати, становилось все больше. Николай начинает посещать вечеринки, правда, танцами пренебрегает, но зато очаровывает изысканными манерами и необычной внешностью. Он ходит по улицам Тифлиса в той же войлочной шляпе и с тем же ружьем, что и во время походов по городским окрестностям. Застенчивость же пытается скрыть надменностью. Так что, нам самое время заглянуть за «вывеску поэта». Там – очередное перерождение Николая. В печатающегося поэта. В дом на углу Сололакской и Сергиевской он приходит 8 сентября 1902 года, держа одну из самых читаемых газет – «Тифлисский листок». В ней – первое в его жизни опубликованное стихотворение «Я в лес бежал из городов...». Это, опять-таки, дань весьма востребованному тогда декадансу, трудно поверить, что 16-летний парень искренне пишет о себе:

Вот я один с самим собой...
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой
Мой выпил мозг, мне выжег грудь,

Я страшный грешник, я злодей:
Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей;
Но растоптал свой идеал...

И, все равно, это – первый шаг на печатные страницы, это – не только предмет юношеской гордости, но и окончательное определение жизненного пути. Хотя, наверное, он и сам еще не осознает, что повзрослел – перед его фамилией в газете стоит инициал не Н. (Николай), а К. (Коля). Отец вообще не одобряет эту публикацию, но окружающие девушки в восторге: перед ними – поэт. А Гумилев влюбляется в них напропалую, причем, отнюдь не в одну. А на то, чтобы очаровать тифлисских барышень, лишнее время не тратит – его мать вспоминает, что одно и то же стихотворение он писал в альбомы

сразу двух девушек, имена которых, увы, неизвестны, время донесло до нас лишь фамилии – Воробьева и Л.Мартене. Впрочем, «прекрасные дамы» на это не обижались – с Воробьевой Гумилев переписывался и после отъезда в Царское Село и даже посылал ей стихи. Скорее всего, посвященные уже только ей. А потом в его жизни снова появляется фамилия Маркс.

Но это уже не бородатый автор «Капитала», а очаровательная гимназистка Машенька – безответная любовь Николая. Если бы эта девушка ответила взаимностью, Гумилев вполне мог бы войти в театральный мир Грузии – вместе с теми, кому в Тбилисском государственном музее театра, музыки, кино и хореографии много лет была посвящена экспозиция, так и называвшаяся: «Уголок семьи Маркс». Дед Марии руководил русскими театральными труппами Тифлиса еще в середине XIX века. Отец, профессиональный актер, создал вместе со знаменитым промышленником и меценатом Исаем Питоевым Артистическое общество, в здании которого ныне Руставелевский театр, а потом стал финдиректором питоевской компании. При этом он был еще фармацевтом и владел одной из первых аптек в Тифлисе. А его сестра, Машина тетя, вообще вышла замуж за Питоева, и среди добрых дел этой пары – дебют Федора Шаляпина на оперной сцене. Впрочем, из нашего сегодня, зная, какой успех имел у женщин уже женатый Гумилев, можно предположить, что у него вряд ли сложилось бы семейное счастье с Машей. И вряд ли клан Марксов-Питоевых простил бы ему измены...

Но, как известно, история не знает сослагательного наклонения. Мария Маркс вышла в Москве замуж, была и врачом на Первой мировой, и санитаркой, и актрисой, в память о своем тифлисском детстве назвала сына Ираклием. И осталась в поэзии не стихами (как говорят, хорошими), а тем, что была первой большой любовью Поэта. Большой настолько, что, уезжая навсегда из Грузии, Николай именно ей, 14-летней гимназистке, оставил свой рукописный сборник «Горы и ущелья». Даже литературоведы, считающие стихотворения этого альбома «подражательными и ходячими романтическими штампами», признают их «биографическую ценность». А мы заглянем на последнюю страницу сборника, там – посвящение М.М.М:

Я песни слагаю во славу твою
Затем, что тебя я безумно люблю,
Затем, что меня ты не любишь,
Я вечно страдаю и вечно грущу,
Но, друг мой прекрасный, тебя я прощу
За то, что меня ты погубишь.

Что ж, М.М.М. – Мария Михайловна Маркс – никогда не забывала влюбленного в нее юного поэта и до конца жизни хранила этот альбом. Сейчас он – в Рукописном отделе Пушкинского дома. Кстати, в связи с «Горами и ущельями», интересно послушать мнение известного исследователя творчества Гумилева Алексея Павловского. Он считает: этот сборник мог бы показать, что Гумилев-гимназист был не чужд и ноты гражданственности, так как именно в Тифлисе он прошел весь краткий период увлечения общественными интересами. И добавляет: «Возможно, вспышка интереса к социальности..., все же оставившая какой-то след в душе, была связана и с англо-бурской войной, развернувшейся именно тогда, когда гимназист тифлисской гимназии писал стихи в свой альбом». А мы с вами, дорогие читатели, полностью согласившись с этим, тем не менее, позволим себе и возразить уважаемому литературоведу.

Вот, что он утверждает: «Гумилев не мог не помнить проводов на англо-бурскую войну, виденных им в Тифлисе, когда ликующие толпы провожали князя Николая Багратиона-Мухранского, решившегося отправиться на поле сражения... Какой страстной и неизбывной завистью страдали тогда все гимназисты тифлисских гимназий, а в их числе и он тоже!.. Гумилев на всю жизнь запомнил и сцену проводов, и свое пылкое желание

оказаться рядом с Багратионом-Мухранским». При всем почтении к памяти Алексея Павловского, нельзя не сказать, что... ничего этого не было, и быть не могло. Потому что светлейший князь Багратион-Мухранский, он же – легендарный Нико Бур, попал в плен 5 апреля 1900 года, в неравном сражении с англичанами у Бошофа. А мать Гумилева с сыновьями выехала в Тифлис лишь 11 августа того же года. Да и никаких ликующих толп не было. В Африку, причем, не в южную, а в восточную князь выехал из Франции, просто на сафари. А о начале англо-бурской войны узнал по дороге, в Александрии. И тут же отправился сражаться на стороне буров: «Мне показалось, что их страна очень похожа на мою родину, и я почувствовал, что должен защищать их». Вот такая вторая, чисто тбилисская, лепта в исследования гумилевоведов.

Ну, а сам Гумилев, независимо от того, что потом о нем будут писать, в 1903-м навсегда покинул зеленый Сололаки, став «третьим» в своей автобиографической «Памяти»:

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.

.....
Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

Вот так, приняв болезненного мальчика, Тифлис проводил в большую жизнь мужчину. Все еще у него впереди – и Африка, и создание акмеизма, и строки, которые уже ни с кем не спутаешь. Но нота «пылкости и дикарства» из гимназических годов прозвучит еще не раз:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Не отголосок ли это тифлисской зурны?

СТРАНИЦА СЕДЬМАЯ

«История – это опытное поле для борьбы добра и зла»... Почему слова, которые Осип Мандельштам часто повторял своей жене, вспоминаются именно на этой улице, именно у этого дома? Наверное, потому, что они имеют прямое отношение и к тому, чье имя носит улица, и к тому, кто построил этот дом, и к тем, кто обитал или бывал в нем.

Улица названа в память об Иване Мачабели – замечательном литераторе и общественном деятеле, чьи переводы Шекспира и по сей день используются в репертуаре знаменитого Руставелевского театра. А его либретто к опере «Витязь в тигровой шкуре», вообще, было создано по личной просьбе русского композитора Михаила Ипполитова-Иванова. В далеком 1898-м этот человек, сделавший немало добра для своей страны, ранним утром вышел из дома на чей-то зов и до сих пор считается без вести пропавшим. Особняк же, под номером №13 по улице Мачабели, где мы остановились, когда-то был построен Давидом Сараджишвили, о котором до сих пор ходят легенды. Он вошел в историю не только как создатель грузинского коньяка, поставщик двора Его Императорского Величества, но и как благотворитель-меценат широчайшей души. Тысячи простых людей из разных районов Грузии добирались в 1911 году до Тифлиса на его похороны, чтобы

попрощаться с человеком, оставившим о себе столь добрую славу. Однако, 27 лет спустя, зло сказало свое слово: останки филантропа и его жены «строители нового мира» выселили на городское кладбище из Дидубийского пантеона, который должен был стать «идеологически выдержанным». И «фабрикантам» там было не место. Но времена снова изменились. И, в 1995-м, в очередной раз доказав, что у них хорошая память, тбилисцы перезахоронили легендарного земляка в самом центре своего города – во дворе Кашуэтской церкви. Которая, кстати, построена, в основном, на деньги Сараджишвили. Так подтвердились слова Акакия Церетели о том, что «Давид заслужил любовь своего народа своей же, щедро отданной любовью».

Ну, а сам Акакий, вместе с другими писателями, общественными деятелями, художниками часто бывал в доме Давида Захарьевича – любимом месте счастливых встреч грузинской интеллигенции. Да и кто только не почитал за честь оказаться в гостях у достойнейшего представителя этой интеллигенции, доктора химических и философских наук. Да что там – в гостях! Приглядимся к одной из первых реклам коньяка Сараджишвили и убедимся: известному фотографу Александру Роинашвили позировать не какая-нибудь модистка, а красавица-княжна Бабо (Варвара) Багратион-Давиташвили. Между прочим, младшая сестренка жены... все того же Иванэ Мачабели. И кто мог предположить тогда, что именно его имя, через десятилетия, будет носить Сергиевская улица, на которой стоит дом Сараджишвили? Но со сколькими, приходившими сюда, судьба поступила не менее жестоко, чем с Мачабели или Ильей Чавчавадзе! Впрочем, борьба добра и зла не обошла и сам этот уникальный дом.

Сегодня его уникальность в том, что, в отличие от остальных сололакских домов, мимо которых мы проходили, он... в отличном состоянии. Он отремонтирован! А в начале прошлого века, когда респектабельным видом особняков в этом районе удивлять было некого, он выделялся как один из первых образцов модернизма в зодчестве Тифлиса. Современники восхищались его волнистыми фронтонами, мансардой, консолями, орнаментом из раковин и растений. А помимо роскошных спален и кабинетов, приемных и гостиных, был еще и сад с источником, к которому вели ступени с широкой каменной террасы перед парадным залом. Не случайно, именно здесь грузинская общественность в 1914-м принимала Николая II во время его единственного кавказского «турне». Но это – к слову. Главное, что творение немецкого архитектора Карла Цаара помнит немало счастливых часов, пережитых замечательными людьми, в том числе, и гостями из России. Увы, как и в жизнь людей, эпоха внесла в его жизнь свои жесткие коррективы.

В газете «Русское слово» за июль 1911 года – информация под заголовком «Щедрый дар». Читаем: «После панихиды вдова Сараджева заявила городскому голове, что, по воле покойного, она приносит в дар городу роскошный особняк на Сергиевской улице со всей обстановкой... В доме Сараджева собрано много картин кавказских художников. Ценность дара исчисляется в полмиллиона рублей». А ведь, в самом деле, Сараджишвили завещал свой дом грузинским писателям, причем, в вечное пользование. Сегодня председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили утверждает: вдова, все-таки, выставила дом на продажу. Но главное не в деталях, а в том, что добро, несмотря ни на что, восторжествовало: другой меценат – Акакий Хоштария выкупает особняк и передает права на него писателям, назначив комендантом не кого-нибудь, а Паоло Яшвили. Однако владеть таким зданием – еще не значит быть счастливым. Мог ли предположить человеколюб Сараджишвили, что в завещанных им помещениях в недоброй памяти 1930-х будут строчить доносы на соратников по перу, а собрания в Союзе писателей превратятся в судилища, решающие судьбы «идеологических противников»? Или, что уже в XXI веке литераторы несколько лет будут бороться с властями, решившими отобрать у них здание? Да, в итоге, добро победило, но сведет ли это на нет все то зло, которое, как говорится, имело место быть?

Ну, а мы, подойдем к порогу красивого дома на Мачабели, чтобы повидать автора слов, с которых начата эта страница. Уж, в его-то судьбе зла хватало и, в конце концов, оно

отняло у него жизнь. Но Тбилиси может гордиться тем, что особняк на одной из его улиц дарил великому поэту России только добро. Тем более что первое появление Мандельштама в Грузии, а точнее в Батуми, было встречено отнюдь не гостеприимно. А ведь эта страна вошла в его жизнь, можно сказать, заочно – встречами в Петербурге с грузинскими красавицами-княжнами, которым он посвящал стихи. Первая – Тинатин Джорджадзе, жена придворного церемониймейстера Сергея Танеева. Вторая – «Соломинка», как назвал ее влюбленный Мандельштам, Саломея Андроникашвили, покоровившая столько сердец! Эти женщины оставили в душе поэта такой след, что на крымском берегу в Коктебеле он грезил другим берегом Черного моря – грузинским, повторяя: «Золотое руно, где же ты, золотое руно?» Но между мечтами и реальностью, как известно, дистанция огромного размера. Мандельштам с братом ступают на землю золотого руна через четыре года после этих грез, в сентябре 1920-го, и сразу оказываются в... карантине Батумского особого отряда. В Осипе Эмильевиче заподозрили шпиона, причем, двойного – и врангелевцев, и большевиков. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы об этом не узнали отдохавшие в Батуми поэты Тициан Табидзе и Нико Мицишвили. Они не только смогли вызволить узника (в то время у поэтов еще были такие возможности!), но еще и организовали его вечер в местном «Обществе деятелей искусств».

Тифлис же компенсировал гостю батумский прием на все сто процентов. Новые друзья «двойного шпиона» Тициан Табидзе и Паоло Яшвили проявили гостеприимство в таких масштабах, что, случайно встретив на Головинском проспекте растерявшихся в незнакомом городе Илью Эренбурга с женой, Мандельштам, ничтоже сумняшеся, объявил: «Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан...» Потрясенный Эренбург потом вспоминал: «Каждый день мы обедали, более того, каждый вечер ужинали. У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей». Однако надо ли говорить, что одними духанами в Тифлисе того времени для поэтов дело ограничиться не может? Творческая жизнь бьет ключом, дополнительный напор которому придают, говоря нынешним языком, звезды литературы, живописи, музыки, приехавшие из беспокойной и голодной России. И Мандельштам вполне естественно входит в эту жизнь на обе недели своего пребывания. Вот он на сцене консерватории, где проходит его совместный с Эренбургом вечер. А вступительное слово о новой русской поэзии там произносит замечательный писатель Григол Робакидзе, впоследствии, как и Мандельштам, запрещенный советской властью, но, в отличие от него, успевший вовремя эмигрировать. Вот Мандельштам проводит занятия с актерами в «Театральной студии Ходотова». Вот спорит с Алексеем Крученых, Анной Антоновской, Сергеем Рафаловичем и другими на вечерах в тифлисском «Цехе поэтов», созданном Сергеем Городецким по образцу петербургского. Можно его встретить даже в журнале с интересным названием «Искусство и промышленность». Там, как свидетельствует Константин Паустовский, он предлагает написать исследование о вывесках Москвы, навеянное картинами Нико Пиросмани. А еще, конечно же, были нескончаемые прогулки по Тифлису, который своими улочками, балконами, храмами, базарами, погребками, шумным людом, казался городом из «Тысячи и одной ночи»...

Интересно, что, как Грузия встретила Мандельштама вооруженной охраной, так ею же и проводила его. Но уже под «крышей» весьма уважаемой дипломатической должности и не на обычном транспорте, а на... бронепоезде. Полномочное представительство РСФСР в Тифлисе дает статус дипкурьеров супругам Эренбург и братьям Мандельштам, а МИД Грузинской Демократической Республики снабжает «командированных в Москву» соответствующими пропусками. Что ж, без этого, наверное, нельзя было рассчитывать на быстрое возвращение домой в обход бумажной волокиты и весьма вероятных новых недоразумений на границе. «...Мы были первыми советскими поэтами, которые нашли в Тбилиси не только душевный отдых, но романтику, ощущение высоты, толику кислорода, - делится Эренбург и от имени Мандельштама. - Без Кавказа трудно себе представить

русскую поэзию: там она отходила душой, там была ее стартовая площадка...» А еще стоит посмотреть, как Осип Эмильевич получает в России продуктовую посылку от американской благотворительной организации «АРА», в голодные годы поддерживавшей деятелей культуры и ученых. По воспоминаниям Михаила Пришвина, он расписался в получении... на грузинском языке. Лучшей характеристики впечатлениям от Грузии и не придумаешь.

Но еще интересней увидеть, как сололакский дом принимает Мандельштама в 1921 году, во время его второго, самого длительного пребывания в Грузии. Появление здесь поэта с женой Надеждой поистине потрясает. Мало того, что они прибывают на полугрузовом автомобиле, которых в городе тогда было раз, два – и обчелся. За рулем машины, промчавшейся по центру Тифлиса, сидит...негр. Надежду Яковлевну сие тоже потрясло, пожалуй, даже не меньше событий, приведших к переезду в Сололаки. А события эти, в другом старинном районе – Вере, мягко говоря, неприятны. Мандельштамы жили у знакомого из Москвы, во дворе на углу Гунибской (ныне – Барнова) и Кирпичной (ей с переименованиями особенно повезло: сначала целиком – Белинского, а ныне – частью Човелидзе, а частью – Схиртладзе). Но это – так, для справки тем, кто захочет пройти по памятным литературным местам. И все было у Мандельштамов по-доброму, пока не явилось зло в лице советской власти, которая в том году уже установилась в Грузии.

Весь квартал за несколько часов выселяется по какой-то, очень важной государственной надобности. Надежда Яковлевна признавалась, что в Киеве она уже видела, как за одну ночь чекисты обыскали целый город, «изымая излишки». Но тифлисское «массовое организационное действие» просто ошеломило ее. Правда, в кутузку никого не увозят – верийцам раздают уже приготовленные ордера на новое жилье, а Мандельштамы, когда приходит их очередь, могут назвать только «Дом искусств», как именовалось тогда здание Союза писателей. Вещи кидают в кузов машины (не будет же столь уважающая себя организация, как ЧК, развозить выселенных на арбах!). И шофер, которого, исходя из нынешней толерантности, вообще-то, следует именовать афрогрузином, подъезжает к бывшему особняку Сараджишвили. Ну, а там, как мы помним, комендантом Паоло Яшвили. К тому же, он и Тициан живут с семьями на втором этаже. И Надежда Яковлевна на всю жизнь запомнила, как он, «великолепным жестом приказал швейцару отвести нам комнату... и швейцар не посмел ослушаться – грузинские поэты никогда бы не позволили своему русскому собрату остаться без крова».

В общем, без всякого разрешения властей приезжая чета поселяется в одном из небольших кабинетов этого дома. Еще сохранившаяся со старых времен прислуга возмущена этим и периодически бежит жаловаться в народный комиссариат просвещения. И, заручившись очередным предписанием «не пущать», пытается выполнять его. Итог таких попыток описывает Надежда Мандельштам: «Тогда с верхнего этажа спускался Яшвили и, феодальным жестом отшвырнув слугу, пропускал нас в дом. Мы продержались там около месяца». И надо признать, что это – самое плодотворное время для Мандельштама в Тифлисе. Именно в «Доме искусств» родилось стихотворение, считающееся переломным в его творчестве – «Умывался ночью на дворе». Современники увидели в нем «новое мироощущение возмужавшего человека». Однако это произведение примечательно еще многим. Во-первых, оно навеяно гибелью близкого друга Николая Гумилева, о которой сообщил тифлисский одноклассник расстрелянного поэта, полномочный представитель РСФСР в Грузии Борис Легран. Во-вторых, оно основано не на сочиненном ради романтики «восточном колорите», а на реальном тифлисском быте – водопровод в роскошном здании не работает, и все умываются привозной водой, из огромной бочки во дворе. Ну, а самое главное, оно удивительно перекликается со стихотворением Анны Ахматовой «Страх», тоже посвященным смерти Гумилева. Судите сами, дорогие читатели. Вот строки Мандельштама:

Умывался ночью на дворе.

Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч – как соль на топоре.
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова.
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее.
Чище смерть, солонее беда,
И земля правдивей и страшнее.

А вот – начало стихотворения Ахматовой:

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий –
Что там, крысы, призрак или вор?

В первых строках поэтов, разделенных огромным расстоянием – один и тот же образ луча на топоре! У Ахматовой он родился в конце августа, а в печатном виде появился в октябрьском номере петроградского журнала «Записки мечтателей». У Мандельштама луч лег на топор осенью, напечатано же стихотворение в декабре, в тифлисской газете «Фигаро». Что это – фантастическое совпадение мыслей двух гениев или же Мандельштам как-то смог прочесть ахматовские строки и откликнуться на них? В те времена питерский журнал вряд ли мог попасть в Грузию за столь короткий срок после выхода в свет. Но вполне возможно, что «Страх» в списках дошел до обширных литературных кругов Тифлиса, в которых всюду вращался Мандельштам. Противники же этой «приземленной» версии, которых немало среди литературоведов, спорящих до сих пор, приводят строки из письма Мандельштама Ахматовой: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем (Гумилевым – В.Г.) и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется»...

Однако посмотрим, чем еще занимается Мандельштам в этом особняке. Главное, пожалуй – переводы. Он открывает для себя Важа Пшавела и переводит его по подстрочникам Паоло и Тициана. Да и самого Табидзе перевел вместе с другими «голубороговцами» – Валерианом Гаприндашвили, Нико Мицишвили и Георгием Леонидзе – для первой русской антологии «Поэты Грузии», изданной в Тифлисе в конце 1921 года. Еще – переводы Иосифа Гришашвили, а с армянского – Акопа Кара-Дарвиша. Но, при всем этом, на террасах «Дома искусств» Осип Эмильевич яростно спорит со своими друзьями, осуждая символизм. Он искренне недоумевает, почему «голубороговцы» живут образами, связанными с европейской литературой, призывая их обратиться к корням Грузии, где «старое искусство, мастерство ее зодчих, живописцев, поэтов, проникнуто утонченной любовью и героической нежностью». Дело доходит даже до разборок на уровне «А кто ты такой, чтобы нас учить?» и клятв именем Андрея Белого «уничтожить всех антисимволистов». Ничего не поделаешь, поэты – народ, пылкий во всем... Но были, конечно же, у Мандельштама и не менее увлекательные занятия. Ведь за полгода жизни в Грузии он активно писал в местные газеты, выступал на различных диспутах и вечерах, преподавал в театральной студии и даже вступил в Союз русских писателей Грузии. Да, была тогда и такая писательская организация, мы можем прочесть расписку

Мандельштама о получении денежного пособия от нее. Словом, гость уже настолько становится своим в литературном мире Грузии, что, открыв петроградский «Вестник культуры», увидим примечательную «утку»: «Поэт О. Мандельштам переехал в Тифлис». На деле же, все иначе. «Комиссары, убедившись, что примитивно – ручным способом – выгнать нас нельзя из-за сопротивления Яшвили, дали нам ордер на какую-то гостиницу с разбитыми стеклами», - вспоминает Надежда Яковлевна. И вскоре, выпив вина с соседями-милиционерами (Тбилиси во все времена – Тбилиси!), Мандельштамы через Батуми уезжают из Грузии. Чтобы вернуться почти через 9 лет. Этот их приезд на Южный Кавказ в 1930-м посвящен, в основном Армении. Дожидаясь вызова туда, поэт с женой шесть недель проводят в Сухуми, на правительственной даче. И вновь, именно в добрейшей к ним атмосфере Грузии, их настигает отголосок зла, весть о гибели еще одного большого русского поэта, на этот раз Владимира Маяковского. Вообще, в Армении чета пробыла с начала лета до осени, Тифлис же предшествует этой поездке, а потом венчает ее. Нельзя точно сказать, бывал ли снова Мандельштам в столь памятном ему сололакском особняке. Скорее всего – да, ведь он вновь встречался с местными писателями, вел переговоры о работе в архивах. Гораздо важнее другое: в тот его приезд Тифлис делает огромное дело не только для самого поэта, но и для всей мировой литературы – впервые после 5-летнего перерыва Мандельштам снова начинает писать стихи. Это – не только цикл об Армении, но и совсем небольшое стихотворение:

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом...

Да, видно, нельзя никак.

Литературоведы признали его шедевром и посвящают сотни страниц расшифровке образов. Установлено, что оно обращено к жене, которую Мандельштам во многих письмах называл «большеротиком» и «птенцом». Вспоминают, что его самого под именем Щелкунчик зашифровал в «Траве забвения» Валентин Катаев. Но для читателей этой страницы, пожалуй, более ценна другая конкретика. Словом «товарищ» на правительственной даче в Сухуми супруги «ответработников» обращались к своим мужьям. Жена Мандельштама смеялась над этим, а он сказал: «Нам бы это больше пошло, чем им». «Ох, как крошится наш табак» - картинка того, что творилось тогда в Тифлисе: исчезли многие промтовары, и приходилось курить бракованные папиросы. А ореховый торт был подарен Надежде Яковлевне на именины... Мандельштам признавался, что после пяти лет поэтического молчания, именно это стихотворение, навеянное и жизнью тогдашней Грузии, «пришло» к нему первым и «разбудило» его.

В поэзии Мандельштама, которая с тех пор не «засыпала», Тифлис, Грузия остались жить до самого трагического конца поэта. Он вспоминал их и в ссылках после первого ареста, писал о них новые строки, оттачивал уже написанное. В своей последней обители – в царстве зла пересыльного лагеря под Владивостоком – Мандельштам мог бы услышать отголосок из прежней жизни. Ведь там же оказался и знаменитый художник Василий Шухаев, а им было что вспомнить. Нет, не о грузинской столице – ее жителем Василий Иванович стал лишь после возвращения из этой ссылки. Но именно он создал самый известный и самый красивый портрет той «Соломинки» - Саломеи Андроникашвили, в которую был когда-то влюблен Осип Эмильевич... Встретиться им не довелось, но

однажды Шухаеву дали самокрутку из бумаги со стихотворением Мандельштама. Быть может, в лагере 3/10 «Вторая речка» зеки скурили и строки, посвященные Тифлису.

СТРАНИЦА ВОСЬМАЯ

Ох, уж, эта бесконечная череда и путаница крутых переулков и улочек у подножья Сололакского хребта! Куда только она не выведет... На этот раз – к знаменитому дому №15 на Коджорской. И, наверное, это не случайно – именно сюда тбилисцы приводят своих самых дорогих гостей, чтобы с придыханием благоговения сообщить: «Здесь жил Есенин!» Ну, а нам, бывшим ученикам целых трех бывших русских школ, находившихся неподалеку (45-й, 43-й и 66-й), мемориальная доска над этим порогом знакома с детства – мимо нее мы вдохновенно таскали с крутизны металлолом. А потом с тем же вдохновением устраивали в школах есенинские вечера, спорили о загадках жизни и смерти поэта. Вот и теперь остановимся у колоритного двухэтажного дома, грозящего вот-вот развалиться, чтобы перелистать страницы воспоминаний. В которых, несмотря на их количество (а может, именно благодаря этому), нестыковок и путаницы не меньше, чем в тифлисской топографии. Вообще же, Сергей Есенин может считаться одним из лидеров по неразгаданным тайнам биографии, и это – при том, что вся его жизнь была вроде бы открыта, вся – на виду. Вот так и с тбилиским периодом. Сколько раз поэт приезжал в этот город? Сколько времени провел здесь? Споры не прекращаются.

Больше всего известно и написано про знаменитую «бесснежную тифлискую зиму» Сергея Александровича, которую по плодотворности многие сравнивают с «болдинской осенью» Александра Сергеевича. Именно тогда, в 1924-25 годах Есенин и жил на Коджорской. Но ведь это был отнюдь не первый его приезд в грузинскую столицу. «Милый друг Тициан», как называл Есенин знаменитого «голубороговца» Тициана Табидзе, ставшего для него одним из олицетворений Грузии, напоминает, что Сергей приезжал в Тифлис еще в 1920-м, но... «Но мы с ним не встречались, и, если бы не воспоминания А. Мариенгофа, то о первом пребывании поэта в Тифлисе мы так и не знали бы совершенно». Ну, чем, казалось бы, не очередная тайна есенинской биографии? Впрочем, возможности приподнять над ней завесу у нас сегодня больше, чем у Тициана: спустя десятилетия уже можно разглядеть то, что ему было просто недоступно. Ведь уже позже исследователю есенинского творчества Владимиру Белоусову рассказал о той поре уникальный человек, доктор филологических наук, классик шахматной композиции Александр Гербстман. Но мы обращаемся к профессору Гербстману не за шахматной мудростью, а, как к верному другу Тбилиси, с которым его связывают и студенческие годы, и первые успехи за черно-белой доской, и последующие приезды к друзьям. Именно во время одного из таких приездов он и встретился с Есениным.

В том, что это была вторая половина 1920-го, Александр Иосифович уверен – он ориентируется на даты различных событий в своей личной жизни. Так вот, в его гостиничном номере неожиданно появляется друг детства Марк Цейтлин, сообщающий что он комендант поезда, прибывшего из Советской России в Грузинскую Демократическую Республику. И что он привез «гордость и надежду советской поэзии – Сережу Есенина», на встречу с которым приглашает. Так каким же ветром занесло поэта на этот явно не «литературный» поезд? А все дело в том, что на пару лет раньше он познакомился с двумя друзьями – Анатолием Мариенгофом и Георгием Колобовым. Первый был поэтом, второй – чиновником Высшего совета перевозок при Совете Труда и Обороне РСФСР. Что, впрочем, не мешало ему писать стихи, вместе с имажинистами эпатировать общественность, участвовать в создании Устава «Ассоциации вольнодумцев в Москве» и даже быть хранителем печати этой организации. Летом 1920 года Колобов – уже «шишка» во Всероссийском Совете Народного Хозяйства и ему приходится часто ездить по стране. Вот он и приглашает в свой вагон друзей-литераторов, а те проводят творческие встречи в городах на маршрутах его служебных командировок. Так через Ростов-на-Дону, Таганрог, Кисловодск и Пятигорск москвичи добираются до Баку.

«Отдельный белый вагон... У нас мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник», - вспоминает Мариенгоф.

Из Баку в Тифлис – поездка особенная. Грузинское правительство национализировало много паровозов, а вагонов не хватало. Поэтому оно хотело продать или сдать в аренду локомотивы, чтобы получить вагоны. И спецвагон с Колобовым, Есениным и Мариенгофом прибывает в столицу Грузии для переговоров: Москва заинтересована в покупке. Заодно решен вопрос пассажирского сообщения между Тифлисом и Баку – 5 сентября оно восстановлено. Есть свидетельства, что и Есенин принимал участие в этом отнюдь не поэтическом деле – как официальный представитель Колобова. Как бы то ни было, с начала сентября он – в Тифлисе. Именно в те дни Гербстман и получает приглашение на встречу с поэтом. Она проходит в квартире известного тифлисского юриста Захара Рохлина. В первые минуты гость не верит, что перед ним Есенин – тот выглядел «совсем по-мальчишески, был навеселе» и совсем не соответствовал представлениям солидного человека о слуге высоких муз. Но когда, во втором часу ночи, этого русоволосого парня уговаривают прочесть стихи, сомнения гостя рассеиваются, он потрясен: «Читал Есенин изумительно: очень эмоционально, всем телом жестикулируя...» Но время и тогда такое, что без политики не обходятся даже поэтические чтения. Тем более, что в семье юриста – раскол: сын Костя ушел в большевики. В ту ночь он появляется, чтобы послушать знаменитого поэта, а того после стихов тянет на политику: «Мы – советские...» Хозяева предлагают Сергею выйти на веранду, но там в нем просыпается то самое хулиганство, которое хорошо знала Москва. Он перегибается через решетку и кричит какому-то прохожему на всю спящую улицу: «Да здравствует Советская Россия!» Естественно, вскоре в дверях появляется милиция, но все заканчивается благополучно. Костю удастся спрятать, его папа, достав бумажник, откупается (милиции всех времен и всех стран мало чем отличаются друг от друга), гостей укладывают спать... Вот такое, пожалуй, единственное свидетельство о поэтическом вечере в первый есенинский приезд. А еще сохранилась фотография начала сентября 1920-го – Есенин с Колобовым в Тифлисе. Ее уникальность особо отмечал спустя 47 лет поэт Георгий Леонидзе.

Однако от бдительных «органов» Есенину отвертеться не удастся. Правда, уже от российских, по возвращении в Москву. Там чекисты арестовывают его за связь с людьми, обвиненными в «причастности к контрреволюционной организации». За поэта поручаются крупные должностные лица, его отпускают, а из его показаний мы выпишем на нашу страницу такие строки: «Я состоял секретарем тов. Колобова, уполномоченного НКПС. 8 июля мы выехали с ним на Кавказ. Были тоже в Тифлисе, по поводу возвращения вагонов и паровозов, оставшихся в Грузии». Стремление в Грузию у Сергея Александровича не пропадает: в нем живет не только интерес к этой стране, но и надежда добраться из нее в Персию, которой он тогда, прямо скажем, грезил. Так что, не проходит и полутора лет, как имя Есенина вновь значится в списках пассажиров все того же колобовского вагона, на этот раз отправляющегося прямо в Тифлис. Но тогда, в феврале 1922-го, поэт опаздывает к отправлению поезда, догоняет его лишь в Ростове-на-Дону, а там... ссорится с Колобовым прямо на вокзале и возвращается в Москву. Так его второе появление в Грузии откладывается еще на полтора года.

Ничего это Тициан знать не мог. У него были лишь несколько строк из воспоминаний Мариенгофа. Но уж в следующий приезд Есенина в Грузию «голубороговец» был в центре всех событий, вместе с другими грузинскими поэтами восторженно принимая русского собрата. Тот период жизни Есенина так и вошел в историю, как «тифлисский», хотя с начала сентября 1924 года по конец февраля 1925-го Сергей покидал грузинскую столицу, отлучаясь в Баку и Батуми. Но каждый раз он возвращался в дом на Коджорской, куда переселился из гостиницы «Ориант», где остановился сразу по приезде в город. Город, в котором обрел таких друзей, как поэты Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе, Нико Мицишвили, Сандро Шаншиашвили, Симон Чиковани, Валериан

Гаприндашвили... Они сами великолепно, «крупным планом», описали те дни. А сколько страниц исписали по этому поводу литературоведы и биографы... Так что, давайте не будем пересказывать тысячи страниц, как и в тысячный раз цитировать «Поэтам Грузии». Мы просто присмотримся к калейдоскопу некоторых ярких иллюстраций, которые воссоздадут атмосферу того приезда.

...В комнате, из которой видна Кура, живут два друга – Симон и Коля, которым еще только предстоит стать знаменитыми. Поэт Чиковани и кинорежиссер Шенгелая. Сблизившийся с ними ленинградский художник Константин Соколов ночью неожиданно приводит к ним Есенина, вместе с которым приехал из Баку. Смущенные такой встречей хозяева читают гостю его стихи, он удивлен и очень обрадован, начинает читать сам. Из мебели в комнате – лишь кровать. Сергей садится на подоконник и, выглянув в окно, отмечает: «Зал великолепен, но, сожалению, публики маловато!».. Через день или два после этого в кафе руставелевского театра Есенин извиняется перед новыми друзьями за ночное вторжение и откровенничает: «Вы думаете, что я был настоящим имажинистом? Я ничего общего не имел с их поэтикой, но дружил с некоторыми из них, и они меня втянули в свою группу. И у Хлебникова поэтика иная, но кое в чем мы ему уступили, и он присоединился к нам. Вообще, литературные группировки отжили свой век»... Другое тифлисское кафе – знаменитый приют творческого люда «Химериони». Уединенно ужинающий Есенин видит, как разбуянился молодой поэт за соседним столиком, и в драку уже ввязываются даже официанты и повара. Он тут же оказывается в центре событий, разнимает дерущихся, а потом приглашает молодежь за свой стол: «Я слышал, у вас был недавно вечер, и публики было очень мало, вы бы скандал устроили до вечера – это привлекло бы народ. Такой скандал был бы оправдан, борьба за поэзию – дело благородное, и никто не стал бы вас винить, сегодняшняя же ссора бессмысленна»...

...В тифлисском Доме союзов – творческий вечер Есенина, звучат и критические замечания. Поэт начинает возражать оппонентам, но речь ему не дается. И он просто восклицает: «Товарищи, не бейте меня, я еще напишу стихи получше». Потом читает что-то новое, понравившееся всем, и быстро смешивается с публикой... Еще одно выступление Есенина – в зале Совпрофа. В тот же день хоронят «грузинского соловья» Вану Сараджишвили, это – настоящий национальный траур, церемония потрясает Есенина своей грандиозностью. И он уверен, что его вечер сорвется. Но в зале яблоку негде упасть, сам поэт в ударе и Георгий Леонидзе отмечает: «Траурный полдень и поэтический вечер этого дня надолго объединили в сознании тбилисцев два редких самородных таланта – Сергея Есенина и Вану Сараджишвили»... А вот – еще один момент, изумивший Леонидзе – друг Сергей вызывает его на... дуэль. Ни больше ни меньше! Причем, в официальной форме, попросив назвать секундантов, назначив время и место поединка – в 6 утра на Коджорском шоссе. А потом объясняет это «очень просто»: «Не волнуйся, будем стреляться холостыми, а на другой день газеты напечатают, что дрались Есенин и Леонидзе, понимаешь? Неужели это тебя не соблазняет?» Сейчас это назвали бы пиаром или промоушеном... А в легендарном магазине лагидзевских фруктовых вод Есенин прирастал к кизиловому соку, и ходивший с ним туда Леонидзе считает, что по какой-то, возможно, несознательной ассоциации, именно этому лагидзевскому изделию обязан своим происхождением один образ из стихотворения «На Кавказе»:

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком.

Увы, возвращаясь ненадолго в наше время, отметим, что нынешним российским поэтам этот «кизиловый источник» вдохновения не светит. Колоритнейший магазин «Воды

Лагидзе» на проспекте Руставели уничтожен, и в стекляшках под тем же названием, сменивших его в других местах города, кизилковым соком и не пахнет...

А эти иллюстрации принадлежат журналисту газеты «Заря Востока» Николаю Вержбицкому – тому самому, что предоставил Есенину одну из своих двух комнат на Коджорской улице. Однажды Сергей просит увести его из шумного духана, и они приходят в невзрачный домик на берегу Куры, к человеку, ставшему символом Тифлиса – Иетиму Гурджи. Обстановка полутемного помещения, мягко говоря небогата: живущий здесь старик – подлинно народный поэт. А стена расписана портретом Руставели. Хозяин, практически не знающий русского языка, поет гостю свои песни, которые любит весь город – о том, что счастье в дружбе и веселье, а не роскоши и богатстве. Узнав, что перед ним известный русский поэт, старик наливает всем из большого глиняного кувшина: «Встреча двух поэтов – это встреча стали с кремнем. Она рождает свет и тепло!.. Я плохо знаю русский язык, но язык поэзии один повсюду. Прошу моего брата прочесть что-нибудь!» Есенин долго молчит, а потом запевает «Есть одна хорошая песня у соловушки». Иетим слушает, опустив голову, а потом ногой распахивает дверь в ночной город: «Не надо печали! Посмотрите, как хорошо на свете!»... Есенин – в колонии для беспризорных. Он рассказывает о себе, привирая, правда, что сам был таким же, голодал, но потом выучился грамоте и неплохо зарабатывает стихами. Причем, говорит на близком пацанам языке – с жаргонными словечками, босяцкими жестами, и это выглядит совершенно естественно. Когда он раздает дорогие папиросы из красивой пачки, его спрашивают: «А ты какие стихи пишешь? Про любовь?» - «И про любовь, - отвечает он, - и про геройские дела... Разные». На прощанье мальчишки поют ему «Позабыт, позаброшен...» А через три дня в «Заре Востока» появляются такие строки:

...Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире,
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.

Так родилась есенинская «Русь бесприютная». Вообще же, в «Заре Востока» впервые увидели свет десятка два его стихотворений и статей. Он становится своим человеком в редакции, которая кормит его гонорарами, авансами и кредитами, собирает его тифлиссских друзей. Не случайно он посвящает ей экспромт:

Ирония! Вези меня! Вези!
Рязанским мужиком прищуривая око,
Куда ни заверни – все сходятся стези
В редакции «Зари Востока».

Еще он любил бывать в наборном цехе, сошелся там со всеми, старого метранпажа Хатисова называл «папашей» и говорил, что запах типографской краски напоминает некие очень приятные события юности, когда он работал в московской типографии. А здесь наборщики первыми набрали его книгу «Страна советская», выпущенную в 1925 году тифлиским издательством «Советский Кавказ». На ее обложке – монограмма оформителя: KZ, Кирилл Зданевич. Когда Есенина не стало, в траурном объявлении «Зари Востока» он был назван «сотрудником и товарищем».

Желанным гостем этой редакции был и другой поэт – Владимир Маяковский. Именно с его пребыванием в Тифлисе связана еще одна из тех нестыковок, которыми пестрит

есенинская биография. С легкой руки все того же Вержбицкого, в литературоведение проникла история о том, как два поэта, которых связывали весьма непростые отношения, повстречались в Тифлисе. Причем, Есенин первым отправился к своему литературному сопернику и был встречен крепким рукопожатием, «с большим и вполне искренним дружелюбием». Они обсуждали свои заграничные поездки, и Маяковский разоткровенничался до того, что пожаловался на испорченный душ. В ответ он получил приглашение отправиться в знаменитые серные бани. «Ну, как же это я – грузин, а вдруг забыл такую самоочевидную вещь?! - закричал он. - Конечно, сейчас же, сейчас же на фазтон и – к Орбелиани!» Что и было сделано к обоюдному удовольствию. Хотя Есенин и связывал Маяковскому. Сперва вспомнил стихотворение «Юбилейное», в котором Владимир Владимирович сравнил его с «коровою в перчатках лаечных» и обозвал «балалаечником». Потом прочитал свое, совсем свежее:

Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.

И Маяковский, никому не дававший спуска в подобных ситуациях, мило улыбнувшись, признал: «Квиты!» Однако и это еще не все. Вержбицкий утверждает, что Есенин продолжил: «...Что поделаешь, я действительно только на букву Е. Судьба! Никуда не денешься из алфавита! Зато вам, Маяковский, удивительно посчастливилось – всего две буквы отделяют вас от Пушкина...» Выдержал паузу и строго добавил, предупреждая помахав пальцем: «Только две буквы! Но зато какие – НО!» После этого Маяковский... вскочил и расцеловал Есенина. А еще они вместе путешествовали по городу, беседовали о художнике Нико Пиросмани... Ничего не скажешь, красивые истории. Жаль, только, что... их никогда не было. Это подтверждают Симон Чиковани, жена Тициана, Нина Табидзе, Николай Тихонов, бывший в то время в Тифлисе, да и многие другие современники. Маяковский уехал 6 сентября, и провожали его около десятка человек. Есенин же приехал через три дня после этого. Да и беседовать о Пиросмани они никак не могли – с картинами гениального художника-самоучки Маяковский познакомился лишь спустя два года, в следующий приезд, у Кирилла Зданевича... Как известно человеческая память способна вытворять злые шутки, так что, будем считать: за четыре десятилетия она просто подвела гостеприимного журналиста. Но есть еще и вовсе таинственная история, связывающая имя Есенина с Тбилиси.

Весна 1944-го. Петроградский друг Есенина, соратник по имажинизму Рюрик Ивнев живет в Тбилиси. И запыхавшаяся курьерша очень просит прийти его к Симону Чиковани, за эти годы из юного обитателя пустой комнаты превратившегося в главу Союза писателей Грузии. В его кабинете на шею Рюрику бросается молодой человек, слегка похожий на Есенина. Голосом, тембр которого удивительно напоминает есенинский, он представляется сыном поэта, приехавшим из Средней Азии. И показывает паспорт на имя Василия Сергеевича Есенина. «А когда Василий начал наизусть читать с большим мастерством и тактом не только лирические стихи отца, но и его поэмы, не запнувшись ни разу, все поняли, что в Тбилиси приехал не просто сын поэта, но и прекрасный чтец его стихов», - вспоминает Ивнев. Конечно же, вокруг 22-летнего гостя – радостная суета, особенно старается будущий директор Музея имени Андрея Рублева в Москве Давид Арсенишвили. Он поселяет Василия у себя, берет на полное иждивение. И рождается идея большого вечера, на котором сын прочтет стихи отца, а Ивнев поделится воспоминаниями. Успех превосходит все ожидания: Василий выступает блестяще, в Сталинири (Цхинвали) и Гори – по два раза в день, а в Батуми – даже трижды. В Тбилиси он часто приходит к Ивневу на улицу Энгельса №6 (ныне Ладо Асатиани), которая, что

примечательно – соседствует с той самой Коджорской... Уезжает он неожиданно, в Краснодар, откуда присылает пару открыток, а потом исчезает для тбилисцев навсегда.

Ивнев, которого в этих открытках поразил бисерный почерк, очень напоминавший есенинский, до конца жизни был уверен, что Василий – сын Сергея. Похоже, что мало сомневалась в этом и великая Фаина Раневская, которой прямо в купе ехавшего по Закавказью поезда Василий устроил импровизированный вечер поэзии. Да и поэт Алексей Марков вспоминал, как в приемной «Зари Востока» встретил есенинского сына. Правда, от очень многих мы сможем услышать, что это был самозванец, в конце концов оказавшийся за решеткой. Но для нас в этой истории важно одно: был ли то коллега «детей лейтенанта Шмидта» или сын поэта, принимая его, жители Грузии продемонстрировали, какие чувства вызывает у них имя Сергея Есенина.

Впрочем, это ясно и из просмотренных нами иллюстраций, так что вернемся в 1925 год, чтобы отправиться с Коджорской улицы к вокзалу, с которого Сергей уезжает, полный планов и надежд, связанных с Грузией. Он сообщит московским друзьям, что ждет в гости грузинских поэтов, чтобы отвезти их в свое родное Константиново и угостить ухой из рыбы, которую сам наловит в Оке. Он хотел начать переводы из грузинской поэзии, позади были переговоры с «Зарей Востока» о редактировании литературного приложения к ней, впереди – создание особого цикла стихов о Грузии. Он писал Тициану, что тифлисская зима навсегда останется для него лучшим воспоминанием, и в следующую зиму он хочет опять «засесть в Тифлисе». Он обещал: «Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере – тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас».

И все казалось таким вполне реальным, близким, дарящим счастье еще на многие-многие годы. И никому не дано было тогда знать, что в Тифлисе поэт встретил последний год своей жизни.

СТРАНИЦА ДЕВЯТАЯ

Эта сололакская улица умудрилась оказаться одновременно и у выезда из города, и, практически, в самом его центре. С ней связаны и замечательные легенды, и не менее замечательные хитросплетения тбилисских реалий. Ее исконное имя Вознесенская (по-грузински – Амаглебис) вернулось к ней в последнее десятилетие. А в прошлом веке мы прочтем это название на страницах многих русских писателей и поэтов – как один из главных символов литературной жизни Тифлиса.

Именно в ее переулок поселил Константин Паустовский свою Маргариту – ту, которую любил нищий и гениальный художник Пиросмани. И именно сюда легко плыли арбы, нагруженные цветами со всех гор и полей Грузии. Причем, были это не только алые розы, которые позже воспел Андрей Вознесенский. «Каких цветов тут только не было! Поздняя иранская сирень. Там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряной на вкус. Густая акация с отливающими серебром лепестками. Дикий боярышник - его запах был тем крепче, чем каменистее была почва, на которой он рос... Изящная красавица жимолость в розовом дыму, красные воронки ипомеи, лилии, мак, всегда вырастающий на скалах именно там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови, настурция, пионы и розы...». И если в легенде эта улица объединила столь непохожие цветы, радуясь каждому неповторимому аромату, то в жизни она сумела связать воедино множество поэтических строк, написанных на разных языках: грузинском, армянском, азербайджанском, русском... И не было различия и непонимания между поэтами, переводившими друг друга.

Голос одного из них, звучавший в одном из самых верхних домов - под номером 45, принадлежал армянскому поэту Кара-Дарвишу. Пожалуй, единственному в мире, выпустившему полное издание своих стихов на... почтовых открытках. Его блестяще переводил Осип Мандельштам. А сам Акоп Генджян - таково настоящее имя этого человека – не менее блестяще перевел на русский язык и народного поэта Армении и Азербайджана Ширванзаде, девять лет прожившего в Тифлисе, и великого американца

Уолта Уитмена. В 1910-м он увлекся футуризмом и, конечно же, подружился с Владимиром Маяковским, который даже написал его портрет. Был он неразлучен и с братьями Зданевичами, один из которых, Илья, призывал: «Читайте Кара-Дарвиша – Уолта Уитмена Востока!». Кто только не поднимался к Кара-Дарвишу по этой улице! И каждый проходил мимо Сололакской Спасо-Вознесенской церкви, в честь которой она и названа. Как и у многих других церквей, попавших под руку воинствующих атеистов, у этой – своя драматическая судьба.

Построил ее в 1852 году замечательный человек, выдающийся историк Платон Иоселиани. Причем, на собственные деньги, по плану церкви, находящейся в Греции. А через 13 лет после этого он был похоронен в ее стенах. Когда храм разрушили коммунисты, могильную плиту перенесли в Дидубийский пантеон. Но надпись на ней по-прежнему извещает, что Иоселиани «похоронен под сенью выстроенной им церкви». А сколько людей, приезжавших из России, приходило к алтарю Спасо-Вознесенской церкви, чтобы поклониться погребенному под ним праху княжны Елены Долгорукой! И не только потому, что она родилась в одной из самых известных российских семей. Елена Павловна была бабушкой совершенно замечательных, вошедших во всемирную историю внуков – графа Сергея Витте и его кузины, основательницы Теософского общества Елены Блаватской... Сейчас на этом месте стоит новая церковь, а улице возвращено старое название. Наверное, второе справедливо, хотя то, которое произносили поколения горожан, выросших после революции, вполне соответствовало неписанной традиции – давать сололакским улицам имена литераторов. Она была названа в честь Иосифа Давиташвили – первого грузинского рабочего поэта, жившего во второй половине XIX века. Но никакие переименования не могли лишить эту улицу неповторимого колорита, который по сей день хранит ее крутизна.

Ну, а если эта крутизна утомит нас, можно присесть отдохнуть. Прямо на ступеньку дома №18. Точно так же, только чуть выше, в подъезде, сидел в 1916 году... основатель русского символизма Валерий Брюсов. Он, уже в который раз, был здесь в гостях, беседовал о литературе, а, поняв, что время позднее, поспешил распрощаться. Но, открыв дверь, изумленный хозяин дома видит поэта сидящим на ступеньках и что-то пишущим в блокноте. Оказывается, Брюсов решил «по горячим следам» записать все, о чем шел разговор. Потом хозяин дома признавался: он никогда не смог бы записывать весь прошедший день. Что ж, он уже столько написал к тому времени (и как написал!), что был признан величайшим поэтом своего народа. Это очень похоже на очередную легенду, но именно так все и было. Потому что хозяйина дома звали Ованес Туманян. И Брюсов стремился не забыть ни одного слова из беседы с живым классиком. «Патриарх армянской поэзии»... «хлеб наш насущный»... «мерило человеческой порядочности, благородства, праведности»... Давайте, приглядимся к сололакцу, о котором в его родной Армении звучали и продолжают звучать такие слова. И который даже запечатлен там на купюре в 5.000 драм.

Ованес становится тифлисом в 14 лет, приехав вместе с отцом в 1883-м из армянского села Дсех в главный культурный и политический центр Закавказья. Здесь он прожил почти четыре десятилетия, до конца своей жизни, оборвавшейся в одной из московских больниц. Однако похоронен он именно в Тбилиси, а вот с сердцем поэта – особая история. Сын Арег привозит его в формалине на Вознесенскую-Давиташвили, и оно 25 лет хранится там, в небольшом шкафчике кабинета. Потом его перевозят в Ереван, а в 1994-м оно захоронено в небольшой сельской часовне рядом с отчим домом Туманяна. Но его биение продолжает звучать в грузинской столице, которую, при первой встрече, Ованес увидел такой: «Повсюду раздавались звуки зурны, дхойла, дайры, нагара, смех, песни - и все это прямо на улицах или на крышах домов, особенно по вечерам. А уж по воскресеньям и праздничным дням - только держись! Разодетый, нарядный город гремел и звенел. Можно было только удивляться, когда же успевают работать эти люди, постоянно пляшущие и поющие».

Жизнь, конечно же, быстро доказывает, что она – отнюдь не постоянный праздник. Ованес женится рано – в 19 лет, у него – 10 детей, и он вынужден служить, как тогда говорили, в «присутственных местах». Но вольнолюбивый поэт и услужливый чиновник – «две вещи несовместные». И Туманяну удастся навсегда оставить службу, которую он сравнивает с адом, и полностью уйти в литературу. Так в Сололаки разгорается еще один очаг, согревающий творческий люд. Сначала его свет шел с четвертого этажа дома №44 на Бебутовской улице (ныне – Ладо Асатиани). Там Ованес в 1898 году создает общество, так и названное – «Вернатун» (верхний дом, горница) – литературно-художественный салон для армянской интеллигенции. В комнате, где дважды в неделю проходят собрания, месяцами живут всевозможные многочисленные гости. И вообще, в многолюдном доме жизнь идет веселая и шумная. Все эти традиции в 1904-м переселяются, вместе с семьей поэта, на Вознесенскую улицу, в здание, которое и сегодня тбилисцы именуют не иначе, как Дом Туманяна.

Ох, как популярен это дом в начале XX века! Теплыми ночами можно увидеть (а вернее, услышать), как приходят к нему после своих дискуссий-застольев грузинские поэты-«голубороговцы»: «Святейший Ованес, дай лицезреть тебя!». Об этой традиции, ставшей частью литературной жизни Тифлиса, рассказывает Нина Макашвили, на свадьбе которой с Тицианом Табидзе почитаемый всем городом поэт был почетнейшим гостем: «На балкон, спросонья надев халат, выходил Ованес Туманян, убеленный сединой, с лицом святого, с удивительно доброй улыбкой... Иногда мы все-таки заходили в его на редкость ароматную комнату. Он садился, как патриарх, во главе, а мы все размещались вокруг жаровни, с помощью которой он обогревал свою комнату. Он бросал на угли какие-то бумажки, они сгорали — от них-то и шел тот удивительный аромат»... А вот что чувствует сам Тициан, когда Туманяна не стало, и подобные встречи остались в памяти еще одним переплетением тбилисских легенд и реалий: «Он... всю свою жизнь проповедовал нам, народам Кавказа, любить друг друга. Он был, как Иоанн Богослов, которого перед смертью ученики привели к народу и который, прослезившись, произнес: «Любите друг друга!». Да, в этом – весь Ованес Туманян. Вот, каков для него город у Куры: «Старый Тифлис – это своеобразный мир, где народы Кавказа были объединены всеми характерными признаками быта и манерами...». А вот – доказательства того, насколько справедлив такой взгляд.

Изданный на русском языке сборник грузинских символистов, возглавляемых Григолом Робакидзе, обсуждается в Товариществе армянских писателей. И, как свидетельствуют бывшие на том обсуждении, «несмотря на бурную дискуссию, атмосфера была очень дружелюбная, чувствовалось, что обе нации уважают друг друга, а разногласия являются теоретическими»... Литераторы-армяне во главе с Туманяном на вечере в Грузинском клубе обсуждают вместе с литературоведом Московского университета Азизом Шарифом и местными азербайджанскими писателями пьесу их соотечественника Наджеф-бека Везирова... Впрочем, какой единой семьей жили тогдашние литераторы, станет еще более ясным, если мы просмотрим хотя бы часть перечня того, в чем участвовали Ованес Туманян и его соратники. Открытие памятника Илье Чавчавадзе, 60-летний юбилей Владимира Короленко, 85-летие смерти Александра Грибоедова, похороны Акакия Церетели, создание литературного кафе «Химериони», Праздник грузинской национальной поэзии... Как сказали бы сегодня, полный интернационализм. Причем, вполне естественный, без всякой показухи. И, конечно, особая страница – отношение Туманяна к русской литературе и к своим современникам, ставшим частью ее.

Он признает, что эта литература влияла на него не каким-нибудь конкретным произведением – он «чувствовал ее в душе, в литературных вкусах, в мировоззрении». Он делится: «Я нашел, что произведения русских поэтов знакомы мне еще с детства и так полюбили, что, несомненно, должны были оказать на меня влияние». И в его переводах Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Надсона, Блока, наиболее полно раскрывающих армянскому читателю мир русской поэзии, – не только высокое

мастерство, но и удивительное понимание всех тонкостей первоисточника. Символично, что именно в Москве, в 1890-м, увидел свет первый сборник его стихов. А сам он всю жизнь пишет статьи о русской литературе, внимательно следит за всеми ее течениями, организует в Тифлисе массу посвященных ей вечеров. Мы с благодарностью должны вспомнить традицию, которую он ввел в своей семье - дети вели дневники, ни одно поступавшее в дом письмо не выбрасывалось. Так и появился семейный архив, сохранивший для нас свидетельства теснейшей связи Туманяна с Россией. Мы видим в нем и газеты, без которых поэт не мог жить - «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русское богатство», и обширнейшую переписку с братьями по перу. Но главным, конечно же, было личное общение.

Валерия Брюсова мы уже видели сидящим на ступеньках туманяновского дома, в котором он был частым гостем. Тогда, в 1916 году, он приехал в грузинскую столицу из российской, чтобы читать лекции об армянской поэзии, вызвавшие настоящий ажиотаж у многонационального населения города. Свое восхищение тифлисским другом Брюсов, оставивший огромное количество переводов из армянской поэзии, высказывает множество раз, при каждом удобном случае. Дружбу с ним Туманян сохраняет до последних дней жизни, а после смерти Ованеса Тадевосовича ее продолжили его дочь и жена Валерия Яковлевича. Свидетельство тому – их переписка по вопросам поэзии вообще и переводов в частности, сохранившаяся в том самом семейном архиве. А еще не только на Туманяна, но и на всех его близких особое впечатление производит Константин Бальмонт, приезжавший в Грузию работать над «Витязем в барсовой шкуре» - первым из пяти полных стихотворных переводов поэмы Шота Руставели. В 1893-м он становится и первым переводчиком на русский язык поэмы Туманяна «Ахтамар». Тогда-то они знакомятся, и позже в Сололаки с радостью принимают колоритного, эмоционального, рыжеволосого гостя. А сам Бальмонт пишет такой экспромт:

Тебе, Ованес Туманян,
Напевный дар от Бога дан,
И ты не только средь армян
Лучистой славой осиян,
Но свой нарядный талисман
Забросил в дали русских стран,
И не введя себя в изъян,
Не потеряв восточный сан,
Ты стал средь нас на родной Иван...

Не только «родным Иваном», но и мудрым наставником Туманян становится для Сергея Городецкого, который на несколько лет превращается в поистине своего человека в доме на Вознесенской. Совсем еще молодой военный корреспондент газеты «Русское слово» приезжает в 1916-м в Тифлис. И встреча с Ованесом многое определяет в его жизни – он получает совет отправиться в Армению, чтобы увидеть последствия резни и спасти детей. Причем, не только армянских, но и курдских. Именно эта длительная поездка и рождает в Городецком настоящего поэта. Он видит и красоты горной страны, и ужасы сожженных городов и сел. Созданный там цикл стихотворений «Ангел Армении» издается в 1918 году в Тифлисе и посвящается, конечно же, Туманяну. Вернувшись в столицу Грузии, Сергей заведует отделом литературы и искусства в газете «Кавказское слово», участвует в литературных вечерах, делает обзоры выставок грузинских и армянских художников и много времени проводит у Туманяна. Без экспромта, не обходится и он:

Не знаю, кто придумал эсперанто,
Чтоб языки связать в один венец.

Но знаю я другого: Туманян-то -
Он эсперанто изобрел сердец!

Именно благодаря этому уникальному эсперанто, творчество Туманяна воспринимали и русские поэты, никогда не видевшие его. Стихи «достопримечательности Тифлиса», как называли Ованеса горожане, стали достопримечательностью переводческих работ Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Николая Тихонова, Беллы Ахмадулиной, Наума Гребнева... Разное время, разные поколения, а язык – общий. Прочтем, что пишет Маршак дочери Туманяна – Ашхен: «...Работа над переводами была для меня истинной радостью. В каждой строчке я чувствовал ясную, добрую, по-детски чистую душу великого армянского поэта. Как живому, я шлю ему свой низкий, почтительный поклон». Как верно расслышал Самуил Яковлевич эсперанто сердец! Но, ведь, детскость души проявляется не только в поэзии. Мы убедимся в этом, услышав, как друзья семьи то и дело повторяют жене поэта Ольге: «У тебя не десять детей, а одиннадцать, и самый трудный ребенок — Ованес». Да и сама она рассказывала, что муж напоминал ей большого ребенка. Чтобы убедиться в этом, хватит одного примера. На зиму в кладовке развешиваются чурчхелы, и Ольга замечает: нити, на которые нанизана эта вкуснятина, постепенно укорачиваются. Естественно, она решает, что дети втихую лакомятся, подрезая кончики чурчхел, но на «месте преступления» застаёт Ованеса... В общем, она и впрямь ухаживает за мужем, как за ребенком. А он, при этом, выглядит таким милым дедушкой с седой бородкой - тифлисские поэты называли его патриархом, когда ему еще не было и пятидесяти. Но, как обманчива бывает внешность у личностей такого масштаба...

«Он оседлал лошадь и двинулся к вражеским позициям. Мы просили его вернуться и спрятаться в ущелье. Но он был спокоен и неумолим. Он посмотрел вдаль на холмы, крикнул нам: Не стрелять! Не выходить из ущелья! Азербайджанцы шли ему навстречу... И когда недавние враги подошли друг к другу и пожали руки, старик азербайджанец сказал: Пусть дорога, по которой он шел, покроется цветами, ярко красными, алыми цветами...». Это - рассказ армянского солдата о том, как тихий человек с добрейшей внешностью в 1907 году предотвратил кровопролитие в Лори. А сам Ованес признается: «И сегодня я не столько тем доволен, что сделал что-то в литературе, сколько доволен, что сумел заставить поднявшиеся друг против друга народы вложить сабли в ножны и сумел спасти великое множество ни в чем не повинных людей от варварской резни». В его стихах эта мысль более сконцентрирована:

Пускаться в бегство? Тщетный труд, —
Я связан тысячами пут:
Со всеми вместе я живу,
За всех душой страдаю тут.

Именно поэтому он – в гуще событий и во время Первой мировой войны, дважды отправляется на Кавказский фронт – обулаивать тысячи беженцев... А потом, победителем не только на литературном, но и на бранном поле, возвращается в свой уютный кабинет на Вознесенской, где висит написанное им объявление: «Не курить и книг не бросать!», а на полках стоят 8 тысяч томов личной библиотеки. Потом они составили городскую библиотеку имени Туманяна, а несколько лет назад... разошлись по другим книгохранилищам города. Они разделили печальную судьбу дома №18, который стал предметом имущественного спора, о деталях которого говорить на этих страницах не хочется. Достаточно сказать, что правнучка писателя, которой остались несколько комнат, вместе с общественностью долго боролась за то, чтобы этот дом не достался людям, которые способны уничтожить все следы «достопримечательности Тифлиса». Слухов и версий на эту тему - выше протекающей крыши исторического дома. Достоверно

известно лишь одно: кому бы он ни достался, библиотеки Туманяна в нем уже не будет. Но, чтобы еще ни произошло, и для поэтов – грузинских, армянских, русских, и для тбилисцев, которым сейчас, зачастую, не до поэзии, это здание навсегда останется Домом Туманяна. Домом, где Ованес посвятил Николозу Бараташвили строки, которые с равной силой звучат и о нем самом:

Утешься, Грузия! В заветный этот миг
 Что омрачило так твой мужественный лик?
 То, что безмолвный прах увидела ты вновь
 Певца, снискавшего в душе твоей любовь?

И еще вспомним, что Брюсов сделал из встреч с Туманяном такой вывод: «В Тифлисе нет ни одного человека, который бы не любил его как человека и замечательного писателя». Это – не легенда. Так было на самом деле.

СТРАНИЦА ДЕСЯТАЯ

Чем дольше мы перелистываем страницы истории старого тбилисского района Сололаки, вспоминая и называя известные всему миру литературные имена, тем больше возникает ощущение: да тут жили сплошные классики! Доносились из окон поэтические и философские споры, прерываемые музыкальными руладами, по брусчатке мостовых бродили удивительные, непонятные нынешнему прагматичному веку люди... И практически каждый дом готов был распахнуть свои двери, чтобы стать местом встреч для бурных дискуссий идеалистов, желающих изменить мир. Все это так и... не так. Потому что далеко не каждому, встреченному нами, удалось громко и весомо сказать свое слово. Звучали здесь и другие имена – не очень известные в большом литературном и научном мире. Они остались на этих крутых улочках своеобразным паролем. Для знающих, для своих. И, не вспомнив этих людей, просто невозможно покинуть сплетение улиц Энгельса-Коджорской-Давиташвили. Так звучали их названия в прошлом веке, когда наши герои были молоды и жизненные невзгоды казались лишь поводом для создания новых строф и философских теорий.

Человек, обитавший на втором этаже дома №43 нынешней улицы Асатиани (Энгельса), а затем в самом начале сохранившей свое название Коджорской, среди литераторов не значится. Но именно у него в 1960-1990-е годы собирались на посиделки тбилисские интеллектуалы. Степан Ананьев или просто Степа, как называли его даже младшие по возрасту – удивительный человек с очень нелегкой судьбой. Сын убежденного, видного коммуниста, устанавливавшего советский строй в Баку и в Армении, стал одним из первых диссидентов. Власть, которую создавал его отец, он не воспринял. И, скорее всего, не только потому, что та власть в 1937-м внесла человека с партийным именем Авис в список своих слуг, подлежащих уничтожению. Степа практически не знал отца – тот с оружием «строил светлое будущее» за пределами Грузии. Да и было мальчику всего четыре года, когда революционный путь родителя завершился пулей в подвале НКВД. Под фамилией матери, после смерти которой с ним на годы осталась заботившаяся о нем тетюшка Зоя Герасимовна, Степан вошел в историю не только Сололаки, но и диссидентского движения в СССР. Вся его натура, не признававшая малейшего насилия, протестовала против тех принципов, которыми жила «страна победившего социализма». Друзья детства вспоминают, что у Степы еще в школе были универсальные знания. Его просили прочесть доклады на самые разные темы для ребят, которые были несколькими классами старше. Как все и думали, он со своей золотой медалью идет на физмат. Но не проходит и пары лет, как понимает: это – не его сфера. И отправляется на философский факультет МГУ. Медалисты должны были проходить лишь собеседование. Но именно на нем экзаменаторы, упертые в «единственно правильную идеологию» - марксистскую, узрели опасность. Уж слишком широко и нестандартно мыслил этот абитуриент. К тому

же, он – сын «врага народа». И на льготное место попадает другой парень, с «правильной» биографией. Степа же, после очередной попытки, оказывается на заочном отделении. А там ему, между прочим, преподает не кто иной, как еще не впавший в немилость выдающийся логик, социолог и писатель Александр Зиновьев. И можно только предполагать, насколько велико было влияние этого человека, которого потом вынудили покинуть родину, а на Западе назвали видным советским диссидентом. Хотя сам он таковым себя не считал. Ананьев тоже не зачислял себя в этот разряд, но его эрудиция не позволяла удовлетвориться марксистскими догмами. Да и вся советская действительность давала молодому философу немало оснований для раздумий, обобщений, поисков высшей истины.

В Тбилиси он находит единомышленников, у него собираются, как говорится, думающие люди. «Все чувствовали себя уверенно... там жила мысль, там царили идеи, - свидетельствует из Америки автор более дюжины книг прозы, поэзии и философской эссеистики Аркадий Ровнер. - Удивительно, как он умел оживлять запаленные временем философские системы, в его присутствии мысли не проносились мимо, не проскальзывали бледными тенями, а расцветали букетами смыслов, выстраивались анфиладами дворцов, поднимались ввысь ярусами башен. Иногда Степа играл на рояле, играл громко и патетично, как будто говорил страстную речь. И говорил он тоже громко и уверенно, отливая мысль в чеканную, может быть, даже чересчур правильную русскую фразу». Конечно, на этих вечерах, поэтических и музыкальных, рождались и темы, касающиеся идеологии, политики, даже переделки несовершенного мира. И, в конце концов, появляется «Манифест технократов». Уже во вступлении к нему говорится, что много лет власть обманывает народ и не выполняет своих обещаний. Легко догадаться, о чем речь шла дальше, почти на трех страницах. Однако молодой вольнодумец – идеалист не только в философии, но и в жизни: из манифеста не делается никакой тайны. А в дом к Степе кто только не вхож! И в один прекрасный день туда пожаловали люди в штатском.

Около трех месяцев следователи уговаривают Ананьева сказать, где спрятан единственный рукописный экземпляр манифеста. Именно уговаривают, ведя разговоры о том, что за окном идет прекрасная жизнь, а он вынужден сидеть за решеткой. Ему надо только назвать место, его тут же выпустят без всяких последствий – мало ли, чего не сделаешь по молодости. И Степан говорит, куда укрыв кощунственный документ. Манифест тут же подшивается к делу, звучит термин «неомарксизм»... Прочтем выписку из архива московского научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», опубликованную в издании «Жертвы политического террора в СССР»: «Ананьев Степан Аветович. Родился в 1933 г., Тбилиси; армянин; член ВЛКСМ; студент 4 курса философского ф-та, лектор горкома комсомола г. Тбилиси. Проживал: Тбилиси. Арестован 6 марта 1958 г. Приговорен: Верховный суд ГССР 29 мая 1958 г., обв.: 58-10 ч.1, 58-11... Приговор: к 4 г. ИТЛ». До того, как удалось найти эти строки, я считал, что Ананьев отбывал срок с 1962 по 1966 годы – так утверждают люди, ставшие ему близкими после его возвращения из заключения. Но были и данные о том, что еще в 1960-м Степана навестил в лагере Ровнер. Документ, сохраненный «Мемориалом», расставляет даты на свои места.

Четыре года ИТЛ, то есть исправительно-трудовых лагерей... Не трудиться в них он не мог, а вот с исправлением не получилось. За что Степа не раз был отправлен не только в карцер, но и в узкий шкаф, специально придуманный для «неисправимых». А кличка «Граф», которую он получил от зэков на Кумарханском этапе, свидетельствует о том, как держался на «зоне» тихий тбилисский философ. Впрочем, как утверждает его близкий друг послелагерного периода, академический доктор химических наук Святослав Гогоберишвили, первым так назвал Ананьева читавший философию в Грузинском политехническом институте Лев Саакян. Многие называли его Учителем. «А я, за глаза, звал его учителем учителей, - вспоминает Святослав. - В 70-80-е он очень многих подвигнул на размышления. К нему приходили те, кто находился, как тогда говорили, во

внутренней эмиграции, в том числе и люди с учеными степенями. Все, кто с ним общались, могут сказать, что Степа оказал влияние на какие-то важные моменты развития их жизни. Я, например, из материалиста стал идеалистом. Таковым был и Степа. Если бы не четкое, рациональное мышление, его можно было бы назвать мистиком. Логически он не отвергал мистический опыт, но апеллировал к рассудочным началам в идеализме». Учителем называет его и Аркадий Ровнер, посвятивший ему в своей книге первую главу - «Друг мой Степа. Рассказ о первом наставнике». А то, какое влияние Ананьев оказал на товарищей по заключению, иллюстрируют поездки его тбилисских друзей за пределы Грузии. В каком бы городе они не оказались, одного имени Степана было достаточно, чтобы перед ними распахнулись двери домов бывших политических зеков. Сам же он продолжал жить в Тбилиси жизнью, бедной в материальном отношении, но богатой духовностью и друзьями. К нему заходили и «физики, и лирики» - люди любых профессий и национальностей, возрастов и социальных слоев, вероисповеданий и политических взглядов. Литератор Сергей Хангулян вспоминает, что здесь он несколько раз встречал профессора университета Константина Герасимова, любимого лектора многих поколений тбилисских филологов. Приходили и те, то хотел высказать собственное мнение о сути добра и зла, и те, кому просто хотелось набраться ума в соответствующей компании.

В мордовских лагерях Степан и крестился, и увлекся антропософией – наукой о человеческом духе, сверхчувственном познании мира, пробуждении в людях их скрытых духовных сил. При этом, как свидетельствуют знатоки вопроса, сололакский философ безуспешно спорил с некоторыми постулатами основоположника этого духовного движения, австрийца Рудольфа Штайнера. Жил Степа на скудный заработок преподавателя музыкальной школы, в которую его устроили добрые люди. И друзья приходили к нему не только с научными идеями и стихами, нотами и пластинками, но и с прозаическими продуктами и одеждой. А он не обращал на быт никакого внимания, ему были намного важнее нескончаемые ночные разговоры, погружение в философские премудрости, призванные сделать лучше и самого человека, и мир, в котором он живет. Вот такой, господа, идеализм на стыке двух прагматичных и жестоких веков. Художественная литература? Сам Степа ее не писал, было, правда, несколько стихотворений, посвященных друзьям, хотя поэтом он себя не считал. Но у него был хороший вкус, прозу и стихи, с которыми приходили к нему, он понимал не хуже философии. И с удовольствием читал друзьям Метерлинка, Волошина, Мандельштама.

Он ушел из жизни вскоре после того, как в его квартире умер больной туберкулезом друг, которого он долго пытался выходить. Кое-кто из окружения Степы вспоминает, что он предчувствовал свою смерть, изменился, стал уходить в себя. А нам, я думаю, стоит вспомнить о том, что выделялось в скудном убранстве его комнат. Перед арестом на столе стояла большая деревянная шкатулка с изображением задумавшегося юноши. И надпись: «Сяду я за стол да подумаю, как мне жить, как мне быть одинокому». Своеобразным ответом на этот вопрос стали изображения, появившиеся над его кушеткой после возвращения из лагеря – портрет антропософа Штайнера и фотография Статуи Свободы. Символы того, чему Степан Ананьев без позы, не ради славы, посвятил свою жизнь.

Хоронили его из дома №2 на Коджорской. Вот так, следуя за его судьбой, мы вновь, как по заколдованному кругу, вернулись на эту, уже знакомую нам улицу. И именно на ней, во дворе под №7 (за четыре дома до есенинского), жил поэт, драматург и журналист Владимир Панов. Впервые я увидел его на литературном вечере в школе, когда, заикаясь, читал свои вирши перед пришедшими в гости поэтами. Среди них был и он, тридцатилетний, сразу запомнившийся тем, как выражал свое раннее отношение к жизни – пронзительной строкой о том, что до сих пор «динозавры кричат на Земле», и просьбой: «Ну, пожалуйста, Красная Шапочка, я прошу тебя: будь осторожна!» За его спиной был Литературный институт имени Горького, где он уже тогда выделялся среди сокурсников.

Которые, в отличие от него, становились звездами первой величины на всесоюзном поэтическом небосклоне. В этом к ним мог бы присоединиться и Вова – так звали его и простые сололакцы, и коллеги-журналисты, и чиновники «высоких инстанций». Тем более, что весомые шаги для этого были сделаны. Его пьеса «Все восемнадцать лет», посвященная сухумской бортпроводнице Наде Курченко, убитой во время первого в СССР угона самолета, шла в театрах страны от Калининграда до Владивостока. И точно так же звучала песня «Обелиск», музыку к которой написал композитор Отар Тевдорадзе. Но никаких дальнейших стараний к приобретению настоящей всесоюзной славы Панов не предпринял. Он довольствовался тем, что стихи ему удаются, их хвалят знатоки, имя его хорошо известно в городе. И сколачиванию литературной карьеры предпочитал, как говорится, простые человеческие радости. Каковы могут быть эти радости для талантливых людей, хлебнувших успеха, хорошо известно. Хотя бы по судьбе русоголового рязанского парня, жившего на Коджорской улице за 9 лет до рождения Панова. Как и у Есенина, у тбилисского поэта была масса влиятельных знакомых, выручавших его из многих неприятных ситуаций. Но не надо думать, что «ответственные товарищи» покровительствовали поэту от щедрот душевных – Панов им был нужен, чтобы писать для них. А писать он мог хорошо, и не только стихи и пьесы. Поэтому в его жизни было и заведование отделом культуры в имевшей замечательные литературные традиции республиканской газете «Заря Востока», и кропание докладов в райкоме партии, и работа в Госкомитете по делам религий... Но на официальных должностях он долго не задерживался. Так и переплетались в нем две жизни: внешняя – бурная, полная друзей и событий, и внутренняя – где стихи становились все более трагичными и бунтующими:

С ног на голову мир перевернув,
я в нем живу. Вокруг косые взгляды...
Глядят, к замочной скважине прильнув,
и шепчутся, что, дескать, так не надо,
что это не по правилам людским,
что выхожу за рамки этих правил,
что жить, перевернувшись, я не вправе,
пришла пора зажать меня в тиски...

Печальные и правдивые строки. Что-что, а тиски он не выносил. Философы разделяют понятия «свобода» и «воля». И если ученики Степы Ананьева, многие из которых позже стали известными литераторами, утверждают, что в нем жила истинная внутренняя свобода, то в поэте Панове, скорее, гуляла вольная воля. Та самая, что бросает из одной крайности в другую. Ну, никак не вписывался он в гламурный аспект понятия «известный поэт». Писал много и легко, часто читал многочисленным друзьям свои глубокие и тонкие стихи, а вот печатался мало. Не хлопотал, как другие, чтобы издать очередной сборник. И жил, в общем, не ради славы. И не ради денег, предназначение которых видел лишь в предоставлении радости общения. Когда же их долго не было, спасало то, что «капало» из ВААП – Всесоюзного агентства по авторским правам. Пьеса и песня Вовы продолжали исполняться в разных концах страны, а с выплатой гонорара за каждое исполнение в те времена было строго. В отличие от нынешних времен. Выручала его и «левая» плата за то, что он переписывал на человеческий язык бюрократическую галиматью официальных документов. А однажды я почувствовал, что оживают сцены из замечательного фильма Эльдара Шенгелая «Необыкновенная выставка». Помните, там талантливый скульптор вынужден зарабатывать на жизнь кладбищенскими памятниками? Так вот, захожу в «Зарю Востока», а там Вова обсуждает с кем-то предстоящий поход в ресторан. «Гонорар раньше срока дали?» В ответ – загадочная улыбка. Минут через десять появляются две респектабельные дамы в черном, достают два конверта. Один из них Панов откладывает, а из второго извлекает лист бумаги, просматривает и начинает уточнять: «Имя

уменьшительное или полное? Где еще работал? Как зовут двоюродных братьев?...» Когда женщины уходят, объясняет: «Для одной написал стихи на смерть мужа, для второй – пишу». «Твои знакомые?» - «Впервые вижу, друзья ко мне направили». И достает из отложенного конверта деньги: «А теперь – в ресторан!»... И в то же самое время его романтическая пьеса «Мы идем за Синей птицей» ставится в тбилисском русском ТЮЗе, а другая, как свидетельствует литератор Игорь Аванесов, «по сказаниям о Ходже Насреддине, в пору Черненко была отклонена от постановки»...

Перемена жизни в Грузии после страшного 9 апреля 1989 года не могла не отразиться на поэте, он серьезней занимается стихами, появляются поэмы и даже сборники с «говорящими названиями» - «Скорбный апрель», «Сатанинский декабрь», «На грани фола», «По ту сторону греха»... Потом наступают те мрачные 90-е годы, которые в Грузии вспоминают, как «плохое время»:

Мы – обалдело спорящие,
охрипшие у микрофонов,
люди или чудовища
с доисторическим фоном.
Мы – на купола крестящиеся,
но душами обезбоженные,
во времени настоящем
прошлым своим стреноженные.
Мы – табуретки, будки
с товарами уворованными,
суесящиеся в буднях,
совесть свою проворонили.

У Вовы – последнее в его жизни место работы, чудом издававшийся журнал «Русское слово», в котором собрались понимающие его люди. Они вместе стараются, на голом энтузиазме, чтобы это самое слово продолжало звучать грамотно и актуально. А жизнь Панова становится не просто трудной – она ужасна. Исчезновение привычных устоев, мрак, безнадега, никакой поддержки от бывших высокопоставленных покровителей. А главное, болезнь и одиночество – в течение считанных месяцев две потери: уходит из жизни мать, трагически гибнет единственный сын. Вова уже полностью живет тем надрывом, который прозвучал в его ранних стихах. Только отчаяньем можно объяснить и отъезд в Россию столь чисто тбилисского поэта, не мыслящего жизни без этих дворов и переулков. Потом – такая же отчаянная попытка вернуться. Не успел.

После его смерти многие говорили о том, что грешно было так растратить Богом данный талант. Что надо было преданно и аскетично служить Музе. Может, и так. Но именно в небольших сборниках Владимира Панова нам открывается целый пласт того времени – сложного, ломающего многое и многих. Не случайно, в сборнике, изданном за год до его смерти, в 1995-м (по настоянию и при помощи друзей), - вновь образ динозавров. Они – уже не те, что кричали молодому поэту из какого-то давнего прошлого, они олицетворяют то, как можно поступить, если ты не в силах изменить жесткие реалии:

Мы живем, уповая, что завтра
льдов великий наступит разлом,
но не ждали того динозавры,
пробиваясь в рассвет напролом.

.....
Ну, а если б им знать, что спасенья,
пробиваясь в рассвет, не найти,
все равно б их вело одоление

исступленного, злого пути.

А, ведь, по сути, они оба остались динозаврами, знаковыми фигурами второй половины XX века – Степан Аветович и Владимир Алексеевич. Люди, очень разные, но одинаково не желающие принимать обстоятельства, в которые их ставила жизнь, меняющаяся по непонятным или чуждым им правилам. Иначе и на их домах мы смогли бы увидеть мемориальные доски, а в Интернете – их работы. Но от того, что этого не произошло, первый из них не перестал быть философом, а второй – поэтом. И их обоих не забудут ни на сололакских улицах, ни далеко за их пределами.

СТРАНИЦА ОДИННАДЦАТАЯ

«На черном и на золотом – /Старинных холстов кракелюры.../ Все счета сведу я потом/ С красотами литературы». Так в переводе Владимира Леоновича звучит строфа Галактиона Табидзе. Великий грузинский поэт никогда не жил на небольшой улице, открывающей с главной площади современного города вход в совсем иной Тбилиси. Его дом-музей в другом районе. Но случилось так, что именно эта улица носит имя Галактиона, и на ней, посмотрев по сторонам, ощущаешь себя словно в музее. Только справа и слева – не картины в подсвеченных нишах, а мемориальные доски на стенах старинных домов. У них, как и у полотен, тоже свои кракелюры – трещины, наложенные временем. Но время не в силах свести счета с красотами литературы, о которых напоминают эти доски.

По-разному называют эту улицу горожане различных поколений. Для самых старших она – все еще Гановская, для остальных – Галактиона. Но мало, кто помнит, что в память о Табидзе ее назвали лишь после смерти поэта. А до того она увековечивала другое великое имя – Акакия Церетели. И, проходя мимо огромного пустыря, превращенного в автостоянку на перекрещении с улицей Лермонтова, не удивляйтесь, если в памяти вдруг всплывет песня, ставшая в России одним из символов Грузии и известная каждому русскому человеку – «Сулико». На этом месте стоял дом №16, в котором жил автор ее слов – Акакий (великих грузин на их родине называют просто по именам, которые говорят сами за себя, и к которым излишне прибавлять фамилии). Человек, которого грузинский народ, еще при его жизни назовет своим великим певцом, провел здесь год, начав общественную деятельность после возвращения из Петербургского университета. Именно там, в вольнодумной студенческой среде, на выступлениях Чернышевского, окончательно сформировалось его патриотическое мировоззрение, сделавшее Церетели идейным предводителем национально-освободительного движения Грузии. Сам он признавался, что понял, как надо любить родину и свой народ после встречи у знаменитого историка Николая Костомарова с только что вернувшимся из ссылки Тарасом Шевченко. Да, Церетели ненавидел царизм и любое угнетение, мечтал об идеальном человеке без сословных различий, но есть в его биографии один примечательный факт.

На учебу в столицу империи 18-летний Акакий отправился не прямым путем. «Меня направили морем с тем расчетом, чтобы я побывал в Одессе, где жила вдова Воронцова. Мне приказано было обязательно с нею повидаться. В те годы в сердцах грузин жила еще светлая память о Воронцове и считалось невозможным, живя в России или направляясь туда, не побывать в Одессе и не повидаться с его вдовой. Вот почему мои родные обязали меня зайти к княгине и передать ей привет, а в качестве подарка от них я вез крест из гишера со скульптурным изображением распятия». Князь Михаил Воронцов, наместник Кавказа – особая страница в истории Грузии. За 8 лет пребывания в ней он много сделал для развития всех сфер жизни, просвещения, приобщения к европейским ценностям. Он был убежден, что российское присутствие на Кавказе должно не подавлять самобытность народов края, а приспособливаться к их исторически сложившимся традициям. Насколько это удалось его сменщикам – другой разговор. Но до сих пор, как бы не

переименовывались в Тбилиси места, связанные с именем этого воина, просветителя и либерала, в памяти горожан живы Воронцовские мост и площадь.

А тогда, в 1859-м, княгиня Елизавета Ксаверьевна принимает юного Церетели «точно сына, с подлинно материнской лаской», а, получив подарок, спрашивает: «Значит, грузины еще помнят нас? Надеюсь, они не скоро забудут моего мужа!» Посланец князей Церетели отвечает: «Пока не исчезнет память о самой Грузии, будет жить имя Воронцова». Позже, с высоты лет, он вспоминает об этом с иронией, мол, «промяукал» запечатлевшуюся в памяти фразу, которую часто приходилось слышать дома от старших. Но при этом заслуженный деятель искусств Грузии Тархан Арчвадзе скажет нам, что великий Акакий никому не прощал упоминания о Воронцове все и уважал его до конца своих дней. Он всю жизнь боролся с самодержавием за свободную Грузию, но никогда не ставил на одну доску правительство с его политикой и народ с его культурой. В поэзию он впервые пришел с переводами Лермонтова, высоко ценил Пушкина, Герцена, Некрасова, посвятил стихи памяти Гоголя, писал о Льве Толстом... И русская культура ответила ему взаимностью – Борис Пастернак, Николай Заболоцкий, Павел Антокольский, Наум Гребнев, Ирина Снегова и другие считали для себя честью переводить стихи Акакия.

Еще один бывший студент Петербургского университета жил на противоположной стороне «улицы - литературного музея», в доме №21. Это – человек, о котором в энциклопедиях и справочниках мы прочтем редкую характеристику: «Грузинский и русский общественный деятель, публицист, литературный критик». Нико Николадзе учился на невских берегах одновременно с Церетели, но, в отличие от него, покинул учебные аудитории не по собственному желанию, а по решению властей, не проучившись даже года. И не просто покинул, а еще и отсидел в каземате Петропавловской крепости. Активному участнику студенческих волнений, поклоннику идей Чернышевского предписывают вернуться на родину. Но он остается в Петербурге и скрывается у Акакия Церетели, выходя на улицу лишь в облике княжеского слуги, в черкеске. Этот наряд и оказывается для него судьбоносным. Перед Рождеством появляется не кто иная, как жена Чернышевского – для маскарада ей нужен черкесский костюм. Так Нико получает приглашение в дом к своему кумиру и становится там своим человеком. Он пишет не только в знаменитом «Современнике», но и в журнале «Искра» (не путать с большевистским «органом» начала XX века!), в газете «Народное богатство» осваивает все секреты журналистики – от набора и корректуры до редакторства. А нелегальное положение завершается удивительной историей.

Военным губернатором Петербурга назначается Александр Суворов – тезка и внук прославленного генералиссимуса. И, наслышанный о его либерализме, Николадзе дерзает просить разрешение остаться в столице. Генерал, которого в свое время арестовывали по делу декабристов, но освободили монаршим повелением, читает фамилию просителя и... на родном языке Нико спрашивает, знает ли он грузинский. Получив ответ на том же языке, говорит: «Каргия!» («Хорошо!») и приказывает выдать вид на жительство. Где генерал выучил грузинские слова? Заглянув в его биографию, мы можем предположить, что это произошло во время участия в войнах с Турцией и Персией. Ну, а Николадзе недолго пользуется его милостью – он отправляется в Европу.

В Женеве, вместе со Львом Мечниковым – адъютантом Гарибальди и братом знаменитого биолога – выпускает самое первое издание Чернышевского и журнал «Современность», напугавшую книгу о Каракозове, покушавшемся на Александра II, пишет в радикальные европейские журналы. А в Париже его отыскивает Герцен, настолько популярный даже «на узкой и закопченной улице Латинского квартала», что реакцию своей квартирной хозяйки Нико описывает так: «Еще утром третировавшая меня за неисправность во взносе квартирной платы, после этого посещения лично поднялась ко мне с кипятком для чая». Каждый раз, приезжая из Лондона, Герцен встречается с Николадзе и, в конце концов, тот начинает сотрудничать в знаменитом «Колоколе», в первой же статье известив мир о положении грузинских крестьян. Но потом, в том же

журнале, мы прочтем уже и критику в адрес самого Герцена, с которым у Николадзе появились идейные разногласия.

Естественно, после этого их пути расходятся, но череда громких имен в судьбе Нико продолжается. Среди его друзей, знакомых и корреспондентов – Виктор Гюго, Альфонс Доде, Алексей Плещеев, Глеб Успенский, Михаил Бакунин... А Поль Лафарг, с которым Нико готовил в Париже выпуск на французском языке журнала «Левый берег», даже знакомит его с... Карлом Марксом. И тот делает Николадзе весьма лестное предложение: стать представителем 1-го Интернационала в Закавказье. Может, классика революционной теории привлек не только публицистический дар молодого человека, но и то, что, защитив диссертацию в Цюрихском университете, тот стал первым в истории Грузии доктором права. К чести литератора, он отказывается – ему более близки революционно-демократические идеи Чернышевского и Добролюбова. С ними он и возвращается на родину, правда, иногда покидая ее – то ради дел во Франции, то, отправляясь в ставропольскую ссылку из-за чересчур смелых публикаций. На грузинском языке он возрождает в Париже журнал «Дроша», в Тифлисе основывает журнал «Кребули» и руководит газетой «Дроеба». А на русском издает газету «Обзор», много пишет в «Тифлисском вестнике» и «Новом обозрении». Но не только поэтому Россия увековечила Николадзе как своего публициста. По просьбе Михаила Салтыкова-Щедрина он работал в «Отечественных записках» и даже заведовал там отделом литературной критики. А в тифлиских изданиях предоставлял возможность высказаться Всеволоду Гаршину и Федору Решетникову.

Сами видите, дорогие читатели, дел у этого человека было под завязку. Но уж таковы публицисты того времени, что свои идеалы они отстаивали не только на печатных страницах. И литератор Нико Николадзе, в биографии которого мы уже не раз встречали слова «самый первый», привносит этот эпитет и в другие сферы жизни своей страны. Именно он сказал первое слово в создании и умелой эксплуатации морского порта в Поты, где был, кстати, городским головой. А еще он – инициатор строительства Грузинской железной дороги и Ткибульского угольного комбината, развития чаеводства. Гласный Тифлисской городской думы Николадзе первым предложил использовать для освещения городских улиц электричество, а не газ. И по его инициативе городское общественное управление, впервые в России, построило дорожный водопровод не за счет концессий, а собственными силами. Согласитесь, завидный пример не только патриотизма, разносторонних интересов и знаний, но и степени доверия властей к начинаниям энтузиаста-непрофессионала, да еще и числящегося в политически неблагонадежных...

А вот в доме №20, через дорогу, где, кстати, Николадзе часто бывал, всегда царила атмосфера, которой были чужды экономические расчеты. Правда, поскольку здесь правили бал литература и искусство, то непременно звучали и разговоры о политике. Ну, как могли собиравшиеся здесь сливки (не побоимся этого слова) грузинской и русской интеллигенции не обсуждать проблемы, во все времена волнующие мыслящих людей! Но не эти проблемы прославили красивый тбилисский особняк.

Он вошел в историю русской культуры как «Дом Смирновых», а многие прибавляют к этому названию еще и фамилию Россет. Ибо без Александры Смирновой-Россет история не выковала бы это примечательнейшее звено в цепочке российско-грузинских связей. «Черноокая Россети», фрейлина двух императриц – создательница легендарного петербургского литературного салона пушкинской эпохи. Она собрала в свой круг весь цвет русской культуры XIX века. И Николай I, которого его венценосная супруга даже ревновала к Александре Осиповне, считал, что Россет царствует над поэтами так же, как он над своей страной. Флером самых различных слухов окутаны дружеские связи широко образованной, очаровательной хозяйки салона со многими и многими литераторами, ставшими гордостью России. Но, если развеять этот флер, то можно увидеть, как Василий Жуковский предлагает ей руку и сердце, а Николай Гоголь, утверждавший, что она – «перл всех русских женщин» и истинный его утешитель, читает ей вторую часть

«Мертвых душ» перед тем, как уничтожить написанное. И, конечно, как Пушкин, посвятивший ей немало строф, убеждает ее написать мемуары, которые сейчас так ценят историки.

И вот, атмосфера удивительного салона переселяется с берегов Невы на Гановскую улицу Тифлиса. Это чудо совершает сын петербургской красавицы Михаил Смирнов, видный зоолог, ботаник, археолог и лингвист. Закончив Одесский университет, он переезжает в Грузию. Может, сыграл свою роль зов крови – бабушка Александры Россет по материнской линии – из... княжеского рода Цицишвили, родственного последнему грузинскому царю Георгию XII. В общем, Михаил женится на дочери богатого тифлисского купца Михаила Тамамшева, а тот дает в приданое дочери особняк, построенный его отцом. Туда ученый, прозванный за успехи в изучении местной природы Смирновым-Кавказским, перевозит обстановку петербургского салона, личные вещи и библиотеку матери, семейные реликвии. И надо ли удивляться, что этот особняк сразу превращается в место постоянных встреч грузинской и русской интеллигенции? Традицию продолжили внук и правнук черноокой Россет. Так что, если мы просмотрим даже неполный перечень тех, кто бывал здесь на протяжении более полутора веков, то покажется, что это – выписка из энциклопедии литературы и искусства. Григол Орбелиани, Илья Чавчавадзе, Викентий Вересаев, Акакий Церетели, Давид Эристави, Максим Горький, Галактион и Тициан Табидзе, Валерьян Гаприндашвили, Георгий Леонидзе, Булат Окуджава, Нодар Думбадзе, Владимир Солоухин, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский... А еще – композиторы Петр Чайковский, Антон Рубинштейн, химик Петр Меликишвили и многие другие замечательные люди. И именно в этом доме Илья Чавчавадзе отмечал 100-летие со дня рождения Пушкина. А ровно 90 лет назад здесь подготовили и издали первое академическое собрание сочинений Николоза Бараташвили. Вот так, господа, идешь по обычной тбилисской улочке, а перед тобой – «одно из крупнейших и ценнейших мемориальных собраний пушкинской эпохи, находящееся за пределами России».

Казалось бы, куда уж больше ждать впечатлений от старых домов, которые буквально следуют друг за другом! Но и это – не последняя страница, распахнутая перед нами улицей Галактиона. Всего несколько шагов от «Дома Смирновых» – и звучит имя Валериана Гуния. В историю киноискусства он вошел как один из лучших актеров грузинского немого кино, снявшийся с 1913 по 1927 годы в десятке фильмов, в том числе и в «Амоке» великого реформатора театра Котэ Марджанишвили, вместе с великой Нато Вачнадзе. А театральные энциклопедии рассказывают о нем не только как об актере, но и как о режиссере, драматурге, критике, переводчике. Между тем, учебное заведение, в котором уроженец грузинского села Эка учился в Москве, было весьма далеко от искусства – Петровско-Разумовская сельскохозяйственная академия. Но именно в Москве Валериан сближается с выдающимся актером и режиссером Александром Сумбаташвили-Южиным, который тоже не имел театрального образования, закончив юрфак. И, по его примеру, Гуния так же начал с любительского театра, когда вернулся в Тифлис. А потом – потрясающий успех на профессиональной сцене.

Среди его лучших ролей – и русская классика: Скалозуб в грибоедовском «Горе от ума», Осип в гоголевском «Ревизоре», Берсенев в лавреневском «Разломе». В 20 лет написав первую пьесу, он потом заявляет о себе не только как драматург. Много переводит, в том числе Гоголя и Александра Островского, редактирует газету «Театри», выступает в периодике. В литературе же он оставил след переводами на грузинский язык либретто «Севильского цирюльника», «Кармен», «Риголетто» и, конечно, собственными либретто к национальным операм. Одно из них к знаменитой грузинской опере – «Даиси» Захария Палиашвили. А еще он оказался в анналах такого художественного жанра, как «литературная живопись» – потрясенный пьесой Гуния «Сестра и брат» великий примитивист Нико Пиросмани написал к ней аж две иллюстрации. У Гуния было множество друзей среди русских деятелей культуры, а Владимир Маяковский во время

застолья, на котором Валериан был тамадой, посвятил ему экспромт, начинающийся так: «Вы – толумбаш,/ Вы – тамада,/ Вы – наш!/ Вы – мастер слова». Обыгрывая фамилию грузинского актера, русский поэт называет его «наш милый гунн» и восклицает: «Давным-давно Север с Югом породнились да обжились». Так обращаются только к людям, которых считают своими...

Ну, а те люди из прошлого, которых мы повстречали на этой улице, за многие десятилетия стали своими сразу для двух культур – грузинской и русской. Несмотря на расхождения во взглядах с современниками, вопреки массе противостоявших им обстоятельств, назло требованиям иного времени. Ну, как тут не вспомнить слова Нико Николадзе: «Наверно, когда-нибудь, лет через сто, наши потомки тоже будут с трудом разбираться в сегодняшних наших спорах по практическим вопросам дня. Споры были всегда. Без этого люди не могут и сегодня». А мы сегодня, говоря по большому счету, не можем обойтись без всего, что рождено светлыми умами тех людей.

СТРАНИЦА ДВЕНАДЦАТАЯ

Однажды Иоганнеса Брамса спросили, задумывается ли он, что будет написано на доске, которую после его смерти повесят на стене дома, где он живет. «Там будут написаны всего два слова», - отвечал с улыбкой великий композитор. «Какие же?» - «Сдается квартира»... Читатели вправе удивиться: с чего это здесь появился Брамс? Во-первых, он никогда не ходил по тбилисским мостовым, а во-вторых, прославился отнюдь не в литературе. Да и о мемориальных досках речь у нас уже шла. Все это так. Но я позволил себе вспомнить грустное пророчество Брамса, чтобы начать очередную сололакскую страницу с разговора о памяти людской.

Следуя всепоглощающей моде на англоязычные термины, поговорим о «промоушн», то есть продвижении этой памяти. Современная рекламная индустрия, по сути, не придумала особого новшества: мемориальные доски – тот же самый «пиар», составная часть promotion. Поколения, увековечившие память о своих замечательных предках, не знали всех этих современных словечек и технологий. Просто, им было ясно: если ты с детства видишь чье-то имя на доске, украшающей дом, возле которого ходишь, то оно, как минимум, врежется в память. А, глядишь, ты и заинтересуешься, что за человек носил его, расскажешь другим. Увы, новые поколения «пиарят» что угодно, но с гораздо меньшим рвением относятся к «наглядной агитации» за многих выдающихся людей прошлого. О которых, как и предсказывал Брамс, хранят теперь память лишь страницы справочников и не всегда включенные в учебные программы произведения. Да еще, конечно, стены домов, в которых жили связавшие свою судьбу с Сололаки писатели и поэты. И пусть многие из этих домов остались сегодня без мраморных свидетельств благодарности потомков, рядом с ними мы все равно вспомним строки, написанные их обитателями или посвященные им.

Ох, сколько мемориальных надписей мы читали, молодыми проходя по этим улицам! Слава богу, часть их еще сохранилась. Как эта доска на доме №7 по улице Сулхан-Саба, некогда – Фрейлинской. И примечательно вот что. Хотя на ней – имя, каждому жителю Грузии известное с детства, о том, что здесь жил и работал Илья Чавчавадзе, знают, в основном, лишь сололакцы, да еще историки литературы и биографы великого писателя и поэта, мыслителя и публициста. Главные мемориальные центры человека, канонизированного Грузинской Православной Церковью как Святой Илья Праведный, - в других районах Тбилиси и страны. Но и здесь он жил, и здесь, пусть недолго – в 1888-1889 годах, но все же была редакция его легендарной газеты «Иверия». Так что, и на этой улице мы сможем услышать его голос. Но на этот раз прислушаемся не к яркой публицистике зрелого мастера, а к не менее блестящим строкам, сложенным, когда ему не было и четверти века. Волею судьбы Илья появился на свет именно в том самом 1837-м, когда ушел Пушкин. И грузинский классик, как и Лермонтова с Тургеневым, великолепно переводил Александра Сергеевича, а его перевод «Пророка» считается образцовым.

Ну, а Петербург, где молодой грузинский князь, обучаясь в университете, встречался с двумя Николаями – Чернышевским и Добролюбовым и воспринял идеи свободолюбия, стал тем городом, который выковал из Ильи одну из самых знаменитых национальных фигур Грузии. А еще в петербургскую пору Чавчавадзе написал свои самые лучшие стихотворения. Одно из них, родившееся в Павловске, по-особому звучит в этом уголке Тбилиси, рядом с которым начинается улица Петра Чайковского:

Ах, зачем очаровала
Ты поэта-иноземца,
Он в любви своей бескрайней
Утопить готов был сердце.

Но однажды ты призналась:
«Мы с тобою – лед и пламя;
Ты возвращен под южным небом
Молниями и громами;

Я цвету в долине хладной,
Где суровы, долги зимы,
Как мое ответит сердце
Сердцу пылкого грузина?..»

Так красавица сказала,
Так любовь мою отторгла...
Видно, быть мне одиноким
Долго-долго, долго-долго.

Эти строки посвящены Софье Чайковской – сестре великого композитора, в которую Илья был безответно влюблен в годы своей петербургской молодости. А вот – удивительнейшее предсказание собственной судьбы, написанное в Питере. Автору – всего лишь 21 год.

К стопам твоим припав,
О Боже правый,
Я ни богатства не прошу, ни славы,
Святой молитвы осквернить не смею...
Но, благодатью осенен твоею,
К тебе прибегну я с мольбой иною.
Врагов, что нож заносят надо мною,
Прости и не ввергай в кромешный ад,
Они не знают, что они творят!

Кстати, о тех, «что нож заносят» над людьми. Через шесть лет после того, как редакция «Иверии» переехала с Фрейлинской улицы, в нее приносит свои стихи 16-летний паренек. Чавчавадзе направляет его к секретарю редакции Григорию Кипшидзе, тот отбирает пять стихотворений, и в 1895 году они появляются в газете за подписями И. Дж-швили и Сосело. Проходит еще двенадцать лет, и видный общественный деятель Михаил Келенджеридзе издает «Грузинскую хрестоматию или сборник лучших образцов грузинской словесности», в которой – стихотворение того же автора с посвящением: «Поэту, певцу крестьянского труда, князю Рафаэлу Эристави». А в том же самом 1907 году, когда появляется эта хрестоматия, уже сам автор стихов обитает на Фрейлинской, через дом от того, где жил Чавчавадзе. И мы даже можем прочесть его полное имя в газете

«Цкаро»: в траурном объявлении, среди извещающих о смерти Екатерины Сванидзе – ее муж Иосиф Джугашвили. Да, предпочел бы Сосела литературу политике – мировая история пошла бы другим путем... Ну, а доска, посвященная несостоявшемуся поэту, занесшему нож над миллионами людей, исчезла со старого сололакского дома в начале 1990-х – ее унесла с собой компания подвыпивших людей. Я сам был тому свидетелем.

Но ничего не могу сказать о том, когда дом №56 на улице Асатиани (бывшей Энгельса) перестала украшать доска, извещавшая, что там 45 лет прожил писатель, для которого державный удар ножом, к счастью, оказался не смертельным. В судьбе Левана Готуа ничто не предвещало туч. У его исторических романов и повестей было множество читателей, в годы Великой Отечественной войны с большим успехом шли его пьесы «Царь Ираклий», «Давид Строитель», «Непобедимые», оцененные самим экс-Сосело. А потом, дожив до 43-х лет, Леван Партенович получил от органов госбезопасности печальную возможность оказаться рядом с российскими литераторами за колючей проволокой Воркуты.

О том, почему Готуа «сел» на 10 лет, есть две версии. Первая: его сестра отвергла ухаживания самого товарища Берия, и все члены семьи, поддержавшие ее, были арестованы. Вторая: писатель отказался писать произведение, прославляющее историческую миссию Сталина. Как бы то ни было, мы видим одно: в обоих случаях Готуа не дрогнул перед теми, кто заносил ножи. И в «Воркутлаге» рядом с ним были и Генрих Альтов – будущий известный писатель-фантаст, и Виктор Василенко – профессор МГУ, автор трех сборников стихов и монографии о народном творчестве, и Иван Гронский – бывший главный редактор журнала «Новый мир», и поэт Владимир Игнатов, ученик Семена Кирсанова, и другие, чьи имена не смогли зазвучать в литературном мире в полную силу. Но самое поразительное, что в лагерных застенках многие литераторы продолжали писать. Леван тоже написал за «колючкой» исторический роман, с помощью товарищей сумел спрятать рукопись в штольне и... там ее съели крысы. Но, уж, если рукописи неподвластны огню, то крысам – и подавно. Писатель восстановил роман и, выйдя на свободу, издал его.

Сегодня уже ничто не напоминает о том, что он жил в этом доме. Но вот – результат опроса, проведенного около двух лет назад еженедельником «Квирис палитра»: в десятке самых любимых писателей Грузии оказался и Леван Готуа. Так, неужто, он не достоин мемориальной доски?

Тот же вопрос нельзя не задать и у дома №7 на улице Мачабели, где жил один из основателей грузинского символизма, «голубороговец» Сандро Шаншиашвили. Тот самый, который блестяще переводил своего друга Сергея Есенина и донес до нас его слова: «Дайте мне на берегу Куры клочок земли, и я построю тут дом, когда я в Грузии – я рад жизни». Именно в дом Сандро приходили Николай Заболоцкий, Ираклий Андроников и Николай Тихонов, которого Шаншиашвили пригласил в Кахетию и засвидетельствовал: «Николай Тихонов исходил всю Грузию – с востока на запад. Он знает наш край не хуже любого грузина». А Тихонов сумел донести до русского читателя очень сложное для перевода стихотворение Сандро «Дуб в Чиатурском лесу». К нему стоит прислушаться – оно актуально для любого времени, в котором решают раз и навсегда покончить со всем, что было раньше:

...Так решено: повалить! Поднялся топор
белощекий,
Свадебной песней пила заскрежетала, летая, -
Листвы паруса зашумели, и треснули сучьев
трещотки,
И брызнула кровь, как из порванной глотки бугая.
И, смертью наполнен, пылая мученьем, клонясь,
Сломался, хрипя, он, и, лес раздирая кругом,

Заставив соседей своих умирать в одиночестве,
Упал великан... И карлик ступил на него.

А еще Шаншиашвили – автор культовых в свое время пьес о «грузинском Робин Гуде» - Арсене Одзелашвили, и сценария фильма, снятого знаменитым Михаилом Чиаурели с участием несравненной Нато Вачнадзе. По его пьесе «Латавра» классик грузинской музыки Захарий Палиашвили написал последнюю из трех своих опер. Шаншиашвили прожил 91 год, вобрав в себя сразу несколько литературных эпох. И соотечественники, и многочисленные русские друзья-писатели с почтением называли его патриархом литературы. А памятная доска на его доме, мимо которой мы все проходили миллионы раз, исчезла...

То же самое произошло и с домом №3 по улице Ингороква, где два последних года своей короткой жизни провел замечательный поэт Ладо Асатиани. Тбилиси принял Ладо за несколько лет до его смерти. Страшный каток, запущенный Сосело, прошелся и по семье этого человека – дед его скончался, когда при раскулачивании у него отобрали дом и земли, мать сгинула в ссылке. Но судьба умеет горько шутить: первое стихотворение 20-летнего Ладо появилось в кутаисской газете «Сталинели» («Сталинец»)... А на все остальное творчество ему было отпущено еще всего шесть лет.

Перебравшись в Тбилиси, выпускник Кутаисского пединститута Асатиани живет на гонорары от публикаций и редактуры. Здесь, на проспекте Руставели, у платана, по сей день не вырубленного, подобно сотням других столичных деревьев, он встретил свою любовь – Анико Вачнадзе. Здесь его кумиром становится Пиросмани: «Каждый настоящий культурный поэт должен писать стихи так, как Нико Пиросмани писал свои картины. Хотя Пиросмани не был образованным художником, его талант решил все». Здесь он начинает растить дочь, борется со смертельным врагом – туберкулезом. И, словно предчувствуя свой скорый уход, много пишет. Смерть пришла к нему в 1943-м, в тот момент, когда он работал над очередным стихотворением. За пару лет до этого он успел увидеть свою единственную изданную при жизни книгу. Сигнальный экземпляр второго сборника продолжения не имел – кое-кто посчитал, что в военное время можно обойтись и без него. Но, несмотря ни на что, Ладо говорит друзьям: «Посмотрим, вскоре вся Грузия будет наизусть читать мои стихотворения». И это пророчество сбылось.

Один из основных символов поэзии Асатиани – маки. Они ассоциируются у него и с кровью павших воинов, и со счастьем, и с женской красотой. И этот образ, и весь ясный стиль его стихов влекут к Ладо не только его земляков, но и больших русских поэтов. Белла Ахмадулина так откликается на его строчку «Вспомнят меня, как Цикаду, и наступят на теплую могилу мою»:

...Я-то знаю,
что под этой елью
ты уснул,
положив свою голову в маки.
Взбудораженный любовью,
наполненный ею,
ты лежишь,
как лежат все поэты и маги.
А земля наполняется парусами
и цветами,
которые тебя так манили...
А Пиросмани?
О, Пиросмани
придет к твоей теплой могиле...

Вообще, у Ахмадулиной – одни из лучших переводов Асатиани. Впрочем, как и у Давида Самойлова. Прислушайтесь, как живет в его переводе образ, главный в творчестве грузинского поэта:

...Так, значит, нам не быть седыми,
так, значит, быть нам молодыми,
когда в пути так много маков,
когда так много добрых знаков.
Нам больше ничего не надо,
не надо нам и брэнной славы,
цветет высокая награда:
поля сияют в маке алом!..

Не ради брэнной славы, а как один из многих добрых знаков, в Сололаки просто обязана была появиться памятная надпись и на 20-м номере улицы Леонидзе. Но, сколько я себя помню, ее там не было, а теперь все идет к тому, что и вешать-то доску уже будет не на чем – дом в таком состоянии, что часть его попросту обвалилась. И сегодня трудно поверить, что когда-то в этих стенах, по четвергам, собирался тифлисский бомонд, видные деятели искусства и литературы устраивали импровизированные вечера, пел «грузинский соловей» Вано Сараджишвили и читал стихи Константин Бальмонт. Тот самый, что поклялся: «Святыню Грузии – поэму Руставели, Я – славянин, клянусь явить своей свирелью...» Все это происходило в доме юриста, писателя и журналиста Александра Канчели. Продолжая работать над первым в истории полным переводом на русский язык «Витязя в тигровой шкуре», Бальмонт в 1915-м, поселился именно здесь, а не в «Гранд-отеле», как в первый свой приезд за год до того.

Грузинское общество с восторгом встречает его интерес к Руставели. Тем более что Бальмонт берет уроки грузинского языка, чтобы лучше проникнуться духом поэмы. Звучат восторженные фразы о том, что встретились два гения, пресса освещает каждый его шаг, все слои горожан переполняют залы, в которых русский поэт проводит руставелевские вечера. Сандро Канчели дает в его честь ужин в саду «Грузинского клуба», где Бальмонт состязается в стихах с Ованесом Туманяном. А «Общество по распространению грузинской литературы» дарит гостю роскошное издание «Витязя» на грузинском. Сам же он радостно делится в письмах: «Моя работа нашла тех, кто в ней нуждался... она получает иной, радостный смысл». Тифлисским друзьям он посвящает массу стихов и экспромтов, а в предисловии к переведенной поэме особенно благодарит чету Канчели, считая, что духовное общение с ней вдохновляло его во время поистине титанической работы.

А еще его связывает с домом №20 поэтическая влюбленность. Это – вполне естественное творческое состояние авторов высокой лирики, и Константин Дмитриевич – не исключение. Грузия воплотилась для него в Тамаре Канчели: «Мое – среди сумрачных ущелий,/ Гость солнца в Грузии, я – сам,/ Моя любовь, Тamar Канчели,/ Чье имя отдаю векам». Это – о жене Сандро Канчели, образованнейшей, обаятельной женщине. Кстати, один из трех ее братьев издавал газету «Закавказская речь», подробно освещавшую каждый шаг Бальмонта в Грузии. А сама она, растя троих сыновей, была членом «Общества грузинских женщин».

Работая в России над переводом «Витязя», который он затем впервые прочел здесь же, в доме на Сололакской (ныне – Леонидзе), Бальмонт активно переписывался с Тamar и Сандро. А нам стоит присмотреться к его телеграмме, присланной этой чете из Парижа: латинскими буквами набраны грузинские слова ««Мзе миквархар Картли» («Солнце, люблю тебя, Картли»)). Ну, а лично Тamar он еще и сонет посвятил:

Я встретился с тобой на радостной дороге,
Ведущей к счастью. Но был уж поздний час.
И были пламенны и богомольно-строги
Изгибы губ твоих и зовы черных глаз.

Я полюбил тебя. Чуть встретя. В первый час.
О, в первый миг. Ты встала на пороге.
Мне бросила цветы. И в этом был рассказ,
Что ты ждала того, чего желают боги.

Ты показала мне скрывавшийся пожар.
Ты приоткрыла мне таинственную дверцу.
Ты искру бросила от сердца прямо к сердцу.

И я несу тебе горение – как дар.
Ты, солнцем вспыхнувши, зажглась единоверцу.
Я полюбил тебя, красивая Тамар.

А теперь раскроем письмо, написанное Бальмонтом перед отъездом в 1917-м в Грузию, куда он везет полностью законченный перевод поэмы: «И думаю, как перед грузинами я возьму в руки... свою работу, я бледнею и плачу, как герои Руставели». Но плакать ему пришлось совсем по другой причине: его тифлисская муза Тамар тяжело больна. И письма Бальмонта семье, в Россию, читаются, как трагический репортаж. «Только сила души позволяет этому истерзанному телу не умереть совсем»... «Сегодня вечером... на носилках снесли Тамар с высоты, где ее дача, и где она задышалась, вниз на берег Боржомки. Вчера казалось, что она умрет. Сегодня ей лучше»... «Вчера мы похоронили Тамар. Нас, провожающих, было много. Гроб весь был укрыт цветами, и от меня было много... роз и белая лента: «Лучшей грузинке Тамар Канчели от Бальмонта, во имя ее пропевшего по-русски всю поэму Руставели». Я еще не в силах понять, что Тамар действительно нет. Шлю мой стих к Тамар». Вот слова из этого стиха «Имени Тамар Канчели», сразу же опубликованного в газете «Сакартвело»:

Для меня опустела Картвелия,
Мой светильник погас, догорев,
Для кого же принес Руставели я,
Облаченного в русский напев?!

А вообще-то, если когда-нибудь над многими стертыми порогами, все-таки, появятся подобающие им мемориальные доски, хорошо было бы увековечить на них просто несколько строк, касающихся судеб тех, то здесь жил. Например, слова грузина Ильи, посвященные русской Софье, или строки русского Константина, обращенные к грузинке Тамар. Да и мало ли что еще может подсказать память о том, что роднит культуры двух народов! Главное, чтобы святые (не побоюсь этого слова) места не были заметны лишь объявлениями о сдаче исторических квартир и больше – ничем.

СТРАНИЦА ТРИНАДЦАТАЯ

И был канал, и был дом на берегу канала... Нет, дорогие читатели, мы не в Венеции, мы все еще в районе Сололаки. А он, самым своим названием, обязан каналу, на арабском называвшемуся «сулулах». И, как говорят, со времен Тифлисского халифата, он нес воду с Коджорских высот над городом в сады, раскинувшиеся у горного хребта. Потому хребет и

был назван Сололакским, дав имя целому району. Сейчас мы не отыщем следов древнего канала – он давным-давно упрятан под землю. Но давайте попробуем убежать из нынешнего века туда, в вечернюю прохладу садов. Где у берега плещется вода, а к уютной усадьбе, где творилась история, накрепко связавшая имена грузинских и русских поэтов, уже съезжаются гости.

...Второе десятилетие позапрошлого века. На берегу «сулулаха» – большой дом начальника артиллерии Отдельного Кавказского корпуса Федора Ахвердова, в просторном саду – тенистые аллеи, беседки, площадки для игр. Хозяин – гостеприимный коренной тифлисец – устраивает частые приемы, и эту традицию после его смерти сохраняет вдова Прасковья Николаевна, урожденная Арсеньева. По воспоминаниям современников, «выдающаяся женщина: получила в Петербурге хорошее образование, с успехом занималась живописью, копировала картины в Эрмитаже, любила литературу и музыку... дом ее был средоточием всего культурного общества Тифлиса в продолжение 10 лет».

А общество это составлял не только цвет грузинской интеллигенции. Дочь хозяйки дома Дарья, в замужестве ставшая Харламовой, вспоминает и о блестяще образованной русской «военной золотой молодежи», и о «либеральной статской молодежи из будущих декабристов», и об «отправленных проветриться многих слегка замешанных декабристах». А вот – слова о человеке, напрямую связавшем свою судьбу с этим замечательным домом, никем иным, как Александром Грибоедовым: «Помнить есть что, так как в доме моей матери в Тифлисе он был ежедневным гостем. У нас зародилась и развивалась его любовь к княжне Нине Чавчавадзе, и в нашем же доме сделался он счастливым женихом, позабыв на время свою ипохондрию».

Согласитесь, дорогие читатели, что после этих слов просто нельзя не проследовать по дому Ахвердова вслед за автором «Горя от ума», приходившим сюда намного чаще, чем к другим тифлисцам. Начнем с флигеля, который снимала семья князя Александра Чавчавадзе – знаменитого поэта, в качестве адъютанта генерал-фельдмаршала Михаила Барклая-де-Толли, бравшего Париж. И, кстати, крестника Екатерины II. Именно здесь становится завсегдатаем русский друг князя, дипломат Грибоедов, который, впервые приехав на берега Куры в 1818-м, поначалу огорчился: «Я уже четвертый месяц, как засел в нем (Тифлисе), и никто из моих коротких знакомых обо мне не хватился, всеми забыт, ни от кого ни строчки!»

Но, по правде сказать, не так уж пресна его жизнь в единственной на весь город гостинице француза Поля, здание которой не сохранилось на нынешней улице Пушкина. В Тифлисе он встречает корнета лейб-гвардии уланского полка, будущего декабриста Александра Якубовича, отправленного из Петербурга на Кавказ за участие в дуэли в роли секунданта. Грибоедов был секундантом его противника, и, по условиям поединка, они тоже должны были стреляться. Но этого не произошло, потому что оба сразу попали под надзор. И вот, в Тифлисе Якубович решает исправить упущенное. Грибоедов против дуэли, но честь в те времена была превыше всего. Пуля лишает Грибоедова кончика левого мизинца, а сам он, по одним сведениям, промахивается, по другим – стреляет в воздух. Резюме же делает такое: «Объявляю тем, которые принимают во мне участие, что меня здесь чуть было не лишили возможности играть на фортепиано, однако теперь вылечился и опять задаю рулады».

После этого наступает полное примирение. Секунданта Якубовича – Николая Муравьева, через десятилетия ставшего наместником Кавказа, Грибоедов даже учит персидскому языку, а тот его – турецкому. Завязываются новые интересные знакомства, и чувство одиночества исчезает: «Я здесь обжился и смерть не хочется ехать». А вот – свидетельство того, что и сам Александр Сергеевич пришелся по душе тифлисскому обществу. Приглядимся к его первому отъезду в Персию: «После приятельского завтрака мы оставили Тифлис; я везде нахожу приятелей... Дело в том, что многие нас провожали, в том числе Я (Якубович), и жалели, кажется, о моем отъезде... Я поутру обскакал весь

город, прощальные визиты...» А уже из Тавриза – призыв человека, тоскующего по главному городу Грузии: «Спешите в Тифлис, не поверите, что за роскошь! В клубе балы и с масками». Он и сам просит перевести его в этот город «судьей или учителем», но вновь надолго попадает в него лишь в конце 1821-го, когда, из-за перелома руки, получает относительно спокойную должность «секретаря по иностранной части» при Главнокомандующем войсками на Кавказе. Поселяется он на Экзаршеской площади (ныне – Ираклия II), рядом, как он пишет, с «царевниными сыновьями, царевичами» - семьей царевны Текле, дочери Ираклия II. А оттуда – совсем недалеко до дома, о смерти хозяина которого он сокрушался: «Отчего на генералов у нас безвременье? Один сошел с ума. Другой пал от изменнической руки, Ахвердов – от рук мирных благодетельных, докторских, жаль его семейство...»

Именно в доме этого семейства и встречается он впервые с дочкой своего друга, княжной Нино Чавчавадзе. «Я лично начала его помнить лет 9-ти, когда он вернулся после долгого отсутствия из Тавриза, почти ежедневно обедал у нас, а после обеда играл нам, детям, танцы», - вспоминает все та же Дарья Харламова, ровесница Нино. Детей же в доме полно: две дочери и сын Чавчавадзе, дочь, падчерица и сын Ахвердовой, да еще их подружки, приходящие для совместного обучения. Харламова продолжает: «Нам-то, младшему возрасту, и играл танцы Грибоедов. Расположение духа у него было необыкновенно изменчивое, иные дни проходили в полном молчании с его стороны, но без видимой причины чело его прояснялось, он делался весел, разговорчив (говорил всегда по-французски) и, если не было малознакомых гостей, шел в зал после обеда, говоря: «*Enfants, venez danser*» («Дети, идите танцевать» - на французском) - садился так, чтобы видеть наши неуклюжие танцы. Играл он всегда танцы своего сочинения, мелодию которых еще ясно помню, но очень красивые и сложные, потом переходил к другим импровизациям и проводил за роялем иногда весь вечер». Музыке детей учит приглашенный капельмейстер и «только Нине Александровне давал сам советы Грибоедов, когда она подросла, и он был в Тифлисе». В ахвердовском доме Александр Сергеевич «задавал рулады», надевая на искалеченный палец специальный кожаный чехольчик.

А потом – отъезд в Россию, и на берегу «сулулаха» он появляется, когда Нине уже 14. Молодежь любит ездить верхом и, «если ехала Нина Александровна и Грибоедов был в Тифлисе, то сопровождал ее». Он попросту очень занят, помимо дипломатической работы – заботы по оживлению общественной жизни Грузии. Участие в разработке плана «Российской Закавказской компании». Начало работы над «Обзрением российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом и финансовом отношении», которое и по сей день – важнейший источник для историков. Рекомендации гражданским властям города «о лучших способах вновь построить Тифлис». Среди предложений по благоустройству города – и места, в которых можно построить мосты через Куру. Спустя многие годы именно там и появятся Мухранский и Воронцовский мосты (ныне – имени Бараташвили и Саарбрюккенский). Еще Грибоедов ходатайствует об открытии училищ для «лиц свободного состояния», прилагает усилия для выхода в свет газеты «Тифлиссские ведомости», создания Коммерческого банка...

При всех этих заботах ему просто необходим дом Ахвердовых, с его постоянной атмосферой тепла и вниманием. Грибоедов не только находит исцеление от душевных тревог в салоне Прасковьи Николаевны, в обществе ее крестницы Нино. Как свидетельствуют современники, он еще и «изгнал из круга дома сего плута скаредного и обманщика», некоего Савиньи, «раскрыв его поведение и подложные письма и поступив по-рыцарски». И еще одно воспоминание Харламовой о тех днях в тифлисском доме: «Конечно, главное внимание Александра Сергеевича с того времени, как я стала его помнить, было обращено на княжну Нину Чавчавадзе, которой было лет 14 тогда, хотя она, как все южанки, была уже вполне сложившаяся женщина в эти годы. Он занимался с нею музыкой, заставлял говорить по-французски...»

А потом – снова отъезд и появление уже в качестве российского полномочного министра в Персии. Вот тогда-то в ахвердовском доме и происходит то, что стало одной из самых легендарных историй о любви. Отправившись в Карс по служебным делам, Грибоедов внезапно возвращается в Тифлис, а дальше – слово ему самому: «В этот день я обедал у своей старой приятельницы (Прасковьи Николаевны), за столом сидел против Нины Чавчавадзе, все на нее глядел, задумался, сердце забилося, не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необычайно важной, или что другое придало мне решимость необычайную, выходя из-за стола я взял ее за руки и сказал ей (по-французски): «Пойдемте со мной. Мне надо вам что-то сказать». Она меня послушалась, как и всегда; верно думала, что я усажу ее за фортепиано; вышло не то; дом ее матери возле, мы туда уклонились, вошли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыхание занялось, я не помню, что я начал бормотать, и все живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери, Прасковье Николаевне Ахвердовой... нас благословили, я... отправил курьера к ее отцу в Эривань с письмом от нас обоих и от родных».

Ну, а мы обратим внимание на то, что «сему способствовала Прасковья Николаевна, коей слишком короткое обхождение с Грибоедовым и даже дружба с ним» очень не нравились другим претендентам на руку юной княжны. Претенденты же эти – отнюдь не второсортны. Один из них – сын знаменитого адмирала, полковник лейб-гвардии Николай Синявин. Второй – кузен главнокомандующего в Грузии и брат командира Грузинского гренадерского полка, будущий тифлисский и витебский губернатор Сергей Ермолов. Третий – походный атаман донских казачьих полков на Кавказе, генерал-лейтенант Василий Иловайский. Четвертый – уже известный нам Николай Муравьев, который стал командиром лейб-гренадерского Эриванского полка... Именно Муравьев утверждает, что «Грибоедов открыл свое намерение Прасковье Николаевне, которая от сего была в восхищении. Кроме того, что она надеялась видеть их счастливыми... ей льстил выбор Грибоедова, ибо Нина была ею воспитана». Ну, а дочери Ахвердовой сама Нина потом признавалась, что «давно уже имела душевную склонность к Грибоедову и желала его иметь супругом». Словом, хозяйка этого дома благословила свою любимицу раньше ее отца, который «начальствовал войсками и областью в Эривани, и ответ от него получен, без сомнения, утвердительный; он всех более радовался сему союзу».

Дальнейшая судьба Александра Сергеевича и юной княжны известна всем. И в очередной раз перелистывать здесь ее страницы просто нет смысла. Заметим только, что имя Ахвердовой с них не исчезает. Так, из Карабаха Грибоедов пишет именно ей: «Говорите с Ниной обо мне побольше, всякий раз, как нечего будет делать лучшего. Помните, что мы оба Вас любим как нежную мать; она и я...» И подпись: «Ваша приемная чета, Ваши дети». Ну, а если мы, все-таки, заглянем из столь примечательного тифлисского сада на последние страницы жизни Грибоедова, то для того, чтобы опровергнуть устоявшиеся мифы.

Миф первый. Многие годы утверждалось: «Горе от ума» написано потому, что автор пьесы был чуть ли не «борцом с режимом», и, в наказание, царь отправил его на Кавказ – в опасности войны, а затем – в Иран, на верную гибель. Ничего подобного не было. Замысел знаменитой пьесы родился у Александра Сергеевича уже в Тифлисе, и есть сведения, что он читал ее вариант все в том же доме Ахвердовых, а затем состоялся и любительский спектакль. Что же касается «опалы», то, когда Грибоедова признали непричастным к восстанию декабристов, царь по-своему загладил его арест: за успехи на дипломатическом поприще присвоил звание статского советника, наградил орденом Святой Анны с алмазами и премией в 4 тысячи червонцев. А вскоре и вовсе назначил своим полномочным министром при тегеранском дворе. К тому же, по дороге к этому двору, в свой последний приезд в Тифлис в 1928 году, Грибоедов останавливается не где-нибудь, а в апартаментах, специально приготовленных для него во Дворце

главнокомандующего (наместника) на Кавказе по распоряжению хозяина дворца Ивана Паскевича-Эриванского.

Миф второй. Тело Грибоедова чуть ли не тайком привезли в Тифлис и весьма скромно похоронили. Обычно это утверждение основывается на цитате из пушкинского «Путешествия в Арзрум», описывающей одинокую арбу, везшую из Тегерана по крутой дороге гроб с останками поэта. Но давайте прочтем и другие строки – из поэмы Якова Полонского «Н.А. Грибоедова»:

Но не скрипучая арба
Ввезла его в Тифлис, -
Нет, осторожно между гор,
Ущелий и стремнин
Шесть траурных коней везли
Парадный балдахин;
Сопровождали гроб его
Лавровые венки,
И пушки жерлами назад,
И пики, и штыки;
Дымились факелы, и гул
Колес был эхом гор,
И память вечную о нем
Пел многолюдный хор...

И, самое интересное, что правы и Пушкин, и Полонский. По пересечении реки Аракс, на территории Российской империи, останкам Грибоедова были отданы военные и гражданские почести. Упряжка из 6-ти лошадей, эскорт из 2-х рядов факельщиков и батальона Тифлисского полка с опущенными знаменем и ружьями, процессия русских и армянских священников, несмолкающий траурный марш военного оркестра... Но на крутом перевале, по узкой тропе которого могла проехать только арба, гроб пришлось перевозить с минимальным эскортом из нескольких солдат во главе с поручиком. Тогда и мог видеть Пушкин своего погибшего тезку. А в «Тифлиских ведомостях» мы прочтем 18 июля 1829 года, что «тело покойного Российского Полномочного Министра в Персии, Статского Советника Грибоедова, привезенное из Тегерана со всеми почестями, приличными сану, в который он был облечен... перевезено из Тифлисского карантина в Сионский Кафедральный Собор, где оно поставлено было на нарочно для сего изготовленный великолепный катафалк». В церемонии участвовали «Тифлиссский Военный Губернатор, весь Генералитет, военные и гражданские чиновники». Да и хоронили отнюдь не втихую: «Бранные останки Александра Сергеевича Грибоедова, в сопровождении Его Высокопреосвященства Экзарха Грузии и всех присутствовавших, отнесены в монастырь Святого Давида, где преданы земле, согласно с волею, неоднократно объявленною покойником при жизни».

Вот так, на самом деле, хоронила Грузия любившего ее поэта. Полюбившего настолько, что он всерьез задумывался о том, чтобы навсегда поселиться на этой земле. О желании сделаться «отшельником в Цинондалах» он писал в год своей смерти. Да и в служебных «записках» наместнику на Кавказе проходит мысль о намерении остаться в Тифлисе. В городе, где он начал и вчерне закончил «Горе от ума». Вообще, многие относят Грибоедова к «авторам одной вещи», но ведь в Тифлисе создавалась еще и «Грузинская ночь», из которой сегодня мы сможем прочесть лишь 2 сцены. Но и их хватило, чтобы критики связали эту утерянную пьесу с литературными традициями Шекспира и Гете.

А счастливые, в отличие от содержания драмы, грузинские ночи связаны для Грибоедова с еще одним роскошным садом – в «Цинондалах», Цинандали, имении князя Чавчавадзе в Кахетии. И там собиралось блестящее общество, и там поэт-дипломат был счастлив, как и

в ахвердовском доме. Особенно, когда после нескольких дней свадебных торжеств в Тифлисе приехал сюда с молодой женой. На две недели, ставшие для него, пожалуй, самыми лучшими из всех, проведенных в Грузии. И сегодня на аллеях цинандальского сада, сохранившего и беседку, принимавшую молодоженов, и дуб, в дупле которого дворовая девочка спаслась во время набега горцев, живет сказка-быль о коротком счастье Александра и Нино. Сказка, начавшаяся в тифлисском саду...

...О девушке, которой снится
венчальный звон при образах,
и о заморском странном принце
с тоской в прищуренных глазах.
Вы сказкам верьте, иль не верьте,
но здесь сплели свои канвы
легенды о любви до смерти
с судьбою девочки-вдовы.

В преданьях, в книгах, даже в тостах
живет сюжет: дворец в саду,
визиты, музыка, знакомство,
венчанье, проводы в беду...
Когда тебе опять про это
начнут деревья ворожить,
склонись у входа в дом Поэта
— здесь знали, как любить и жить.

О, будь навек, во всех напевах,
благословенна та земля,
что может прятать в своих дровах
детей от горцев Шамиля!
Я в Цинандали взглядом трону
рубцы ее священных ран.
И вздрогну, увидав с балкона
далекий город Тегеран.

Этот город мысленно предстал и перед теми, кто выходил на балкон тифлисского дома с садом — ахвердовского. Предстал источником двойного горя: Нино, узнав тщательно скрывавшуюся от нее страшную весть, потеряла сына, которого носила под сердцем... В такой момент, наверное, нам самое время покинуть этот дом. Но мы еще вернемся в него, вместе с другими людьми. И будет это цвет грузинской и русской интеллигенции — писатели, поэты... И Яков Полонский посвятит Нине щемящие, полные восхищения строки, и Михаил Лермонтов почтительно склонит голову, получая из ее рук заветный кинжал... Мы же пока уходим из той усадьбы, из того века. И, возвращаясь в век нынешний, окажемся на улице Мачабели, у знакомого нам здания Союза писателей Грузии. Почему именно здесь? Да потому, что стоит оно на том самом месте, где когда-то так романтично, на берегу канала, располагалась усадьба Ахвердовых ...

СТРАНИЦА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Старые, исконные наименования своих улиц сололакцы знают назубок. И, не задумываясь, запросто используют их одновременно с более поздними, современными названиями. Но даже эти исконные горожане, говоря о Нагорной улице, могут вспомнить лишь то, что в позапрошлом столетии она превратилась в Сололакскую, потом еще дважды переименовывалась, в нынешнем веке став улицей Леонидзе. А вот о том, что

была еще одна Нагорная, уже мало кто припомнит – настолько кажется, что эта улица всегда была Лермонтовской. Взбежав по крутому склону, она соединила верхнюю и нижнюю границы района. А в ее истоках тбилисцы с гордостью показывают гостям двухэтажное здание с непременными резными балкончиками, называя его «Лермонтовским домом». Сейчас оно капитально реставрируется, и трудно сказать, какой облик ему предстоит принять. Но здесь, на бывшей Алавердской площади, навечно поселилась уверенность горожан, что именно в этом доме жил поэт, чье имя уже более века носит улица, проходящая по самому центру Сололаки.

Тогда, в 1837-м, здесь было то, что сегодня мы назвали бы офицерским общежитием – на Алавердской площади размещались господа офицеры из полков, стоявших в городе. Среди них мог быть и приезжавший в Тифлис прапорщик расквартированного в Кахетии Нижегородского драгунского полка Михаил Лермонтов. А впервые этот город прозвучал в его биографии за 7 месяцев до приезда туда. Раздел «Выбыли из Москвы» в «Ведомости о прибывших в Москву и выбывших из оной разных особ» свидетельствует 10 апреля: «Пополудни в 1 час в Тифлис Нижегородского драг. п. пр. Лермонтов».

Однако путь в Грузию затягивается – простуда в дороге, лечение и длительные остановки в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, поездка в Железноводск, в Тамань... А с военным укреплением Ольгинское на Кубани связаны два примечательных события. Первое – по дороге туда Лермонтова обокрали, и он не смог отдать пакет, посланный родителями Николаю Мартынову. Да-да, тому самому. Тогдашний друг-приятель, а впоследствии – его убийца пишет своему отцу: «Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил; но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письмо, также пропали; но он, само собой разумеется, отдал мне свои». Второе событие – намного приятней и связано оно с Тифлисом. Читаем предписание от 29 сентября, полученное из Штаба войск Кавказской линии и в Черномории: «...Я предписываю вам отправиться в свой полк; на проезд же Ваш от укрепления Ольгинского до города Тифлиса препровождаю при сем подорожную № 21-й, а прогонные деньги извольте требовать по команде с прибытием вашим в полк».

Ну, а Тифлис тем временем становится судьбоносным для Лермонтова. На плацу Кабахи, что был на месте нижнего Александровского сада, 10 октября Его Императорское Величество Николай I лично проводит смотр частей Кавказского корпуса. Среди них – четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка, «найденные в отличном состоянии». Это и отражается на судьбе Лермонтова, хоть еще и не доехавшего до места службы, но уже числящегося в списках личного состава. Он оказывается в числе поощренных офицеров: высочайший приказ по результатам смотра гласит, что переводится «прапорщик Лермантов лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом».

Может быть, царь решил, что талантливый вольнодумец, стихи которого нравились даже членам августейшей семьи, уже достаточно наказан ссылкой в беспокойную провинцию. Может, сказались хлопоты бабушки поэта Елизаветы Арсеньевой, имевшей немалые связи среди сильных мира сего. Да и придворный поэт и воспитатель наследника престола Василий Жуковский убеждал шефа жандармов Александра Бенкендорфа, что Лермонтов «подаёт надежды русской литературе». Как бы то ни было, именно из Тифлиса Михаил Юрьевич заочно получает облегчение судьбы – ему разрешают продолжить службу уже в России, да еще в более высоком звании, да еще в гвардии. Но в полку ему числиться еще до 25 ноября, и по дороге в свою часть Лермонтов, как он сам пишет, «был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии». Дело в том, что драгуны-нижегородцы были направлены в азербайджанский город Куба для умирения сторонников Шамиля. Но восстание подавили до их прибытия, поэт присоединяется к ним в Шемахе и вместе с полком, наконец, попадает в Грузию. Пока еще не в Тифлис – в Кахетию.

И тут – первое для Лермонтова в Грузии удивительное переплетение судеб. Полк, в течение 15-ти лет охраняющий «Лезгинскую линию», располагается в урочище Караагач,

а совсем неподалеку – Цинандали. То самое, где мы уже видели и владельца поместья князя Александра Чавчавадзе, и его дочь Нину, и его зятя Александра Грибоедова. Именно грузинский поэт-генерал долгое время был старшим штаб-офицером полка, а потом и командовал им. Естественно, офицеры-драгуны были частыми гостями в имении. Военный историк Василий Потто с восторгом пишет, что «связующим звеном между ними становился грузин, и в то же время нижегородец, тот самый князь Чавчавадзе, которого почитала вся Грузия как представителя знатного рода, как одного из своих доблестнейших воинов и, самое главное, как своего великого поэта...» Виделись ли тогда два поэта – прапорщик и генерал? Знаменитый литературовед Ираклий Андроников, перерывший все доступные и даже недоступные свидетельства о судьбе Лермонтова, предоставляет нам целую массу косвенных доказательств для положительного ответа. Почему косвенных? Да потому, что во многом мы вынуждены согласиться со словами еще одного большого поэта по имени Александр – Блока, утверждавшего: «Почвы для исследования Лермонтова нет – биография нищенская». Конечно, за годы, прошедшие после того, как это было сказано, найдено немало интереснейших документов, но все же о пребывании Лермонтова в Грузии, особенно в ее столице, известно до ничтожного мало. Впрочем, и само это пребывание весьма недолгое – со второй половины октября до начала декабря.

И, тем не менее, примем утверждения авторитетнейших исследователей, что Михаил Юрьевич бывал в семье Чавчавадзе, а значит, оказывался в блестящем обществе, которое она собирала и в Цинандали, и в Тифлисе. Ведь не случайно же на обороте листа с автографом стихотворения «Спеша на север из далека» торопливым почерком, карандашом, записаны два женских имени – «маико мая». Необычные для русского поэта, поспешившего запомнить их, они были хорошо известны в высшем свете Тифлиса, это – Маико и Майя Орбелиани. А первая из них – родственница и подруга Николоза Бараташвили, так что Лермонтов явно мог видеть и самого поэта-романтика, которому тогда был 21 год. А если так, то не исключено знакомство и с еще одним человеком, стихами которого зачитывалась вся Грузия – Григолом Орбелиани. И уж конечно – с вдовой Грибоедова, Ниной.

Еще одна ниточка, ведущая к семье Чавчавадзе – уже хорошо знакомая нам усадьба Ахвердовых. С ней, как мы помним, жизнь этой семьи связана самым тесным образом, но и для Лермонтова здесь завязалось удивительное переплетение судеб. Уже второе в Грузии. Владелица дома Прасковья Николаевна Ахвердова в девичестве носила фамилию Арсеньева, она – троюродная сестра покойной матери Михаила. Таким образом, женщина ставшая второй матерью Нине Чавчавадзе и благословившая ее на брак с Грибоедовым – троюродная тетя Лермонтова. Правда, в 1837-м в Тифлисе ее уже нет, она переехала в Россию, где, между прочим, постоянно поддерживает родственные отношения с единственным близким Лермонтову человеком – его бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Да и сам он встречался с ней там. Достаточно прочесть строки его писем, написанных из Петербурга и Царского Села еще до появления в Тифлисе: «Я часто выдаюсь с... Прасковьей Николаевной», «Прасковья Николаевна Ахвердова в мае сдает свой дом». А еще примечательно, что именно в то время Александр Чавчавадзе находился в российской столице и часто встречался с Ахвердовой. Так, может, у нее и познакомились грузинский и русский поэты?

Впрочем, это – предположение. А вот – реальные факты из тифлисской жизни Лермонтова. За несколько лет до его приезда в Грузию дом и сад Ахвердовых были разыграны в лотерею и достались Казенному институту благородных девиц. Флигель же – тот, что много лет снимала семья Чавчавадзе, – остался у пасынка Ахвердовой, Егора, служившего в Грузинском гренадерском полку. Участок, на котором стоит нынешнее здание Союза писателей Грузии, начинался с Садовой улицы, с годами сменившей немало названий – Бебутовская, Энгельса, Ладо Асатиани. Через полвека после смерти Лермонтова, желая отметить этот печальный юбилей, Тифлисская городская дума решила

установить, где же именно жил поэт. На это ушло 7 лет работы в архивах и опросов сололакцев, а потом место было названо точно: «У родственника своего в 4-м участке по Садовой улице». Однако еще через пару лет имя поэта дали не этой улице, а Нагорной, связанной с Лермонтовым лишь тем, что он мог останавливаться в офицерской гостинице, от которой она начиналась...

Но, в какой бы части Сололаки ни жил Михаил Юрьевич, Тифлис ему нравился. Как, впрочем, и тем большим русским поэтам, которые были здесь до него. Не случайно, в одной его фразе – прямые отклики пушкинского и грибоедовского отзывов: «Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани!» И еще: «Если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что, вряд ли Поселение веселее Грузии». Впрочем, согласитесь, веселье поэта, да к тому же, офицера-драгуна – отнюдь не только в банях да хороших ребятах. И вполне естественно, что неизгладимые впечатления оставили местные красавицы. Достаточно вспомнить «Демона»:

То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка.

Или «Мцыри»:

И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви...

У исследователей есть предположения о том, что стихотворения «Слышу ли голос твой...», «Как небеса, твой взор блистает...», «Она поет – и звуки тают...» посвящены не петербургской, а грузинской красавице. А таких красавиц на балах и приемах в столице Грузии встречено было немало, помимо уже упомянутых – Екатерина Чавчавадзе, Елена Орбелиани, Варвара Туманишвили, Мелания и Дария Эристави... Кстати, первый из этих стихов – на обороте листа с записью наброска: «Я в Тифлисе...», сделанного до отъезда из Грузии. Все это – чисто платоническое восхищение, о победах Лермонтова на тифлисском любовном фронте не известно ничего и никому. Ну, а с очаровательной простолюдинкой роман вряд ли мог завязаться – отмечая, что женщины на Кавказе малоразговорчивы, Лермонтов полушутливо признается: «Как, например, грузинки, они не говорят по-русски, а я – по-грузински». А знаете что, дорогие читатели? Если уж у нас зашел разговор на столь игривую тему, присмотримся к тому самому наброску «Я в Тифлисе». Потому что в нем идет речь о весьма необычной, по-разному трактуемой истории.

Появился в Тбилиси литератор, специализирующийся на обобщении материалов из жизни грузинского бомонда минувших лет и излагающий, при пересказе, собственные, порой сенсационные версии. В цикле «Загадки Грузии» он опубликовал материал под интригующим названием «Неизвестный Лермонтов». Вообще-то, там нет ничего

неизвестного ни исследователям, ни тем, кто просто интересуется жизнью поэта. За исключением утверждения о том, что в Грузии Лермонтова, оказывается, «больше волновала личная жизнь». И основано это утверждение именно на отрывке, начинающемся словами «Я в Тифлисе». Автор делает из него однозначный вывод: в Тифлисе Лермонтов утопил труп бывшего ухажера приглянувшейся ему местной девушки, а потом сбросил в воду и мстителя. Не будем полностью цитировать, что конкретно писал поэт – эта «неизвестная» история есть во всех полных собраниях его сочинений, начиная еще с 1873 года. И все серьезные исследователи признали: это – план повести, а не автобиографическая запись.

Предоставим слово хотя бы тому же Андроникову. Признавая очень реальным описание Тифлиса того времени, он утверждает: «И тем не менее нет никаких оснований относить описанные в этом наброске события к самому Лермонтову... Помимо того, что история эта применительно к Лермонтову кажется совершенно неправдоподобной, она не могла пройти без последствий для ссыльного офицера. Кроме того, в описи дел «О происшествиях по Грузии за III треть 1837 года» в Центральном государственном историческом архиве Грузинской ССР вообще нет ничего похожего на эту историю». А после тщательного анализа многочисленных поправок в тексте, делается вывод: «Отражен процесс возникновения нового замысла... ни в одном письме Лермонтова мы не встречаем этого – только в черновиках прозы».

Конечно, тбилисцам могло бы польстить, что именно в их городе знаменитый поэт лихо участвовал в романтично-уголовной затее, затем проявил себя как детектив и решил использовать все это в повести «Тамань». Но, увы, такие утверждения автора «Неизвестного Лермонтова» абсолютно беспочвенны, как и сообщение о том, что Лермонтов якобы доложил обо всем командованию, а весь отрывок является его письмом к другу. Так что, жители грузинской столицы могут гордиться другим – в их городе созрел сюжет большого произведения. «Очевидно, - подытоживает Андроников, - сюжет, подсказанный ему действительным происшествием в Тамани, стал потом обрастать новыми впечатлениями и превратился в замысел «тифлисской повести», более сложной по фабуле, чем «Тамань». Но есть в этом наброске и настоящая тайна, скрывающая то, что нас так интересует – где еще в Тифлисе жил Лермонтов, с кем общался.

Человек, у которого он останавливался, именуется в наброске «Петр:», затем упоминаются «Г:», «ученый татар. Али», «Ахмет» и «Геург». Следить за всеми этапами исследований этих имен долго и утомительно. Так что, обратимся сразу к окончательным выводам ученых. Итак, наиболее вероятно, что «Петр:» - дежурный штаб-офицер штаба Отдельного Кавказского корпуса Павел Петров 4-й. Появившись в городе, прапорщик Лермонтов, по предписанию, обязан был явиться именно к нему. К тому же Петров служил при начальнике штаба Владимире Вольховском, близком друге князя Чавчавадзе и лицейском товарище Пушкина. С Вольховским Лермонтов познакомился еще на Северном Кавказе, в Тифлисе тот протезировал опальному поэту и вполне мог поручить своему подчиненному опекать приезжего.

Человек, зашифрованный инициалом «Г:» - скорее всего, штаб-лекарь Тифлисского военного госпиталя Франц Герарди, которого знал весь город, насчитывавший тогда лишь 25 тысяч жителей. Кстати, этот медик уехал в отпуск в те же дни, когда Лермонтов навсегда покидал Грузию. «Ученый татар. Али» - Мирза Фатали Ахундов, впоследствии – великий азербайджанский поэт, а тогда – начинающий литератор. Он, вторым после Лермонтова, откликнулся стихотворением на смерть Пушкина, в Тифлисе учил Михаила Юрьевича азербайджанскому языку, помог записать сказку про Ашик-Кериба. Так в грузинской столице два великих поэта продолжили связи русской и азербайджанской литератур.

Ахмет, упомянутый в наброске, - тифлисец, бывавший в доме Петрова и сопровождавший Лермонтова в прогулках по городу. А Геург – знаменитый оружейник, в официальных

документах – Ягор Элиаров (Елизаров). Его имя есть и в черновике стихотворения «Поэт»: «В серебряных ножнах блистает мой кинжал – /Геурга старого изделия». Заглянув в Тифлис 1837 года, можно увидеть и его мастерскую – рядом с особняком Главноуправляющего Грузией, ныне – Дворцом учащейся молодежи, в который переименован знаменитый тбилисский Дворец пионеров. Но почему в литературном наброске оказались реальные люди? Ответ есть и на это – Лермонтов, как и Пушкин, сохранял подлинные имена во всех начальных планах.

Но планы – планами, а все мы знаем, сколько Лермонтов успел написать о Грузии, на сколько еще она его вдохновила. И не только в литературе. «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию», – писал он в Россию. Увы, из этой коллекции до нас дошло совсем немного. Но живут в рисунках и на картине поэта Метехский замок с церковью, Авлабарский мостик, Ортачальские сады, крепость Нарикала, домики над Курой, плоская кровля одного из них. Кстати, знаменитый «Кавказский вид с саклей» на Военно-Грузинской дороге Лермонтов писал из нынешнего тбилисского пригорода Мухатгверди. А на противоположном, пустом тогда берегу, сегодня – городской квартал и электростанция ЗаГЭС... Ну, а когда летний вечер сводит на нет тбилисскую жару, и над городом, зажатым меж холмами, все еще висит остаток знойного марева, как не вспомнить строки:

Сады благоуханием
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущелье мгла и дым...

И, наверное, не так уж важно, жил ли Лермонтов на улице, носящей сейчас его имя. Главное: он жил в этом городе, а город остался жить в нем. До самой смерти, настигшей поэта через 4 года после расставания с берегами Ктуры.

СТРАНИЦА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Кто жила в Тифлисе, тот, конечно, не может не знать одного из самых живописных уголков его. Этот уголок – Сололакское ущелье, или, просто, Сололаки, некогда одно из предместий небольшой столицы Грузии, теперь небольшой квартал... Было время, сады и дворы сололакских обывателей были так небрежно, или, лучше сказать, до того доверчиво обгорожены, что всякий, кто б ни захотел, мог свободно проходить по ним. Ни одна дверь не имела замка, ни одна калитка не запиралась ни днем, ни ночью; по всем плетням, столбам, заборам и балкончикам вывешивались на солнце войлоки, чадры, платки и всякая пестрая ветошь, и никто не стерег их... А теперь – какая перемена! – женщины не прячутся, а спокойно усаживаются на порогах наблюдать прохожих или, не обращая на них внимания, грудью кормят детей своих... дворы со всех сторон прочно загорожены... Так стали заметно изменяться нравы сололакских жителей, да и самый наружный вид Сололак, по милости одноэтажных и двухэтажных кирпичных домиков, с окнами на улицу, с явными признаками городской архитектуры, навсегда потерял свою полудикуую, первобытную прелесть...»

Это одна из самых увлекательных иллюстраций к страницам старого района. А создал ее и еще многие, подобные ей, человек, который прожил в грузинской столице всего 5 лет. Но доказал при этом, что любит ее не меньше, чем иные наши современники, демонстративно украсившие себя надписями «I love Tbilisi». Зовут этого человека Яков Полонский. И тбилисцы, которые и сегодня помнят, как прежде в Сололаки «ни одна калитка не запиралась ни днем, ни ночью», со вздохом согласятся с Яковым Петровичем в том, что «...в настоящее время вид Сололак совершенно изменился...» Но при этом отметят: и сейчас «по всем столбам, заборам и балкончикам» вывешивается все свежeweстиранное.

А вот именно «по милости одноэтажных и двухэтажных кирпичных домиков, с окнами на улицу» район сохранил «первобытную прелесть», увы, уходящей натуры...

Полонский появляется в Тифлисе в 1846-м, из Одессы, в которой прожил два года после окончания университета, не найдя никакой другой работы, кроме преподавания на дому. Почему стремление именно в Тифлис? Во-первых, потому, что туда уехал одесский генерал-губернатор, всеобщий любимец граф Михаил Воронцов, назначенный наместником Кавказа. И, как водится во все времена, за хорошим начальником потянулись чиновники всех рангов и мастей.

«...Все здешнее народонаселение движется за ним, как конновожатым. Одесса пустеет – и вряд ли я останусь здесь. Хочется жить на Кавказе», – признается Полонский. Во-вторых, интерес к Южному Кавказу живет в нем с ранних лет – там служили его дядя и отец, который даже утверждал, что знает «образ жизни Тифлиса». А дядя еще и зарисовал вид грузинской столицы. И маленького Яшу изумил рисунок, на котором был «нерусский город, уступами восходящий на гору, увенчанную крепостными стенами и башнями». Ну, а в-третьих, разве можно забыть, как описывали Кавказ его кумиры! Даже знакомые дамы признают, что молодому поэту необходимо побывать в «стране поэзии», чтобы встретить «знакомые, чудные тени Пушкина, Лермонтова, Грибоедова».

Но легко воскликнуть: «В Тифлис!», да не так уж легко сделать это. Причина самая банальная – отсутствие денег. И лишь благодаря переехавшему в Грузию одесскому приятелю Ивану Золотареву, эта судьбоносная поездка состоялась. Тот стал помощником директора канцелярии наместника и сумел, правда, не сразу, выхлопотать Якову место в газете «Закавказский вестник». А это, говоря современным языком, – номенклатура той самой канцелярии. Так что, в Тифлис Полонский уезжает на казенные деньги, а приезжает с желанием... «навсегда покинуть свои стихотворные или поэтические занятия». Дело в том, что вторая книжечка его стихов – изданная в Одессе – довольно сурово раскритикована таким авторитетом, как Виссарион Белинский. Но, дорогие читатели, как может человек, уже познавший вкус стихосложения, не рифмовать в Тбилиси! И именно этот город превращает Полонского в настоящего поэта.

Сначала он останавливается в доме князя Палавандишвили, недалеко от площади, которую тбилисцы и по сей день называют Воронцовской. Затем – на Авлабаре, оставившим не самые приятные впечатления не только трущобами, но и тем, что под палящим солнцем он «без зонтика должен был идти с Авлабара на Эриванскую площадь». И, наконец, как утверждает известный исследователь его жизни Игорь Богомолов, Полонский поселяется в Сололаки. С практической точки зрения это можно объяснить тем, что нашлось место в том же доме, где жила семья Золотарева. Но наша страница связана с таким нематериальным явлением, как поэзия, и поэтому на ней вполне можно предположить, что в район между крепостью Нарикала и горой Мтацминда его привели «чудные тени» Лермонтова и Грибоедова. К сожалению, сейчас мы уже не сможем точно установить, на какой из сололакских улиц жил поэт, но то, как он их описывал, свидетельствует: они стали для него ярким олицетворением Тифлиса. На них он встречался с друзьями, по ним шел окунуться в атмосферу изысканных салонов блестящей грузинской интеллигенции. А каких замечательных друзей подарила ему эта атмосфера!

И на этой странице мы вновь видим знакомые имена. Поэт-генерал, князь Александр Чавчавадзе. Его стихи Полонский ценил настолько, что в черновом тифлисском альбоме сделал наброски, увы, не состоявшегося перевода. Дети князя – Давид и Нина, вдова Грибоедова. Первому из них Полонский посвящает стихотворение «Кахетинцу», а второй – прямо так и названное: «Н.А.Грибоедова». С этой замечательной женщиной молодого поэта связывает теплая дружба. Он много узнает от нее и о жизни ее мужа – своего кумира, и о культуре Грузии.

В Тифлисе я ее встречал.

Вникал в ее черты:
 То – тень весны была, в тени
 Осенней красоты.

Племянница князя – Маико Орбелиани. По словам Полонского, «грузинка, чудо, как хороша». Ей, после совместной поездки в Марткопи, он посвящает стихотворение «После праздника», у нее знакомится со стихами ее друга, великого романтика Николоза Бараташвили, и их влияние заметно сказывается на стихах самого Полонского.

Кстати, завсегдатаям литературного салона семьи Чавчавадзе можно позавидовать еще и потому, что они – единственные, кто познакомился с не искаженным цензурой первым драматическим произведением Полонского, драмой из грузинской истории середины XVII века «Дареджана Имеретинская». Работая над ней, автор дважды ездит в Имерети и предназначает ее для открывшегося в Тифлисе театра: «Я писал мою драму не для избранного общества наших столиц и наших провинций – я думал о той тифлисской сцене..., где, смею сказать, моя драма для тифлисской публики была бы гораздо интереснее многих наших драм и даже комедий, непонятных в Грузии и совершенно чуждых нравам большинства будущих посетителей театра». С какой гордостью Полонский дебютирует с этой пьесой перед грузинскими друзьями! «Я читал ее в Тифлисе у Нины Александровны Грибоедовой... Слушателями моими были по большей части лица из грузинских фамилий. Имена действующих лиц в драме м.б. (могли быть – В.Г.) отчасти именами их отдаленных предков и будили в них исторические воспоминания». Это тифлисское чтение пьесы стало первым и последним. Несмотря на ходатайство графа Воронцова, драма была запрещена и не увидела сцены, «принимая в соображение политическое содержание» и «по общим обстоятельствам настоящего времени». Объяснение простое – там показано народное возмущение. Да и вообще, «Дареджана Имеретинская» лишь один раз была напечатана, и то – в искаженном цензурой виде. А вот тифлисам повезло...

Еще он дружит с Дмитрием Кипиани, прославившимся просветительской деятельностью. Об их отношениях мы можем судить, прочитав, как через 9 лет после отъезда Полонского из Тифлиса, Кипиани перечисляет участников одного из петербургских литературных вечеров: «...Наш Полонский, - теперь он здесь, замечательный поэт». Согласитесь, что это местоимение «наш» дорогого стоит. Таким признанием Тифлис удостаивает далеко не каждого.

И еще нам стоит перенестись в 1887 год. Вся общественность отмечает 50-летие литературной деятельности Полонского, и из Ставрополя, где отбывает ссылку его грузинский друг, поступает телеграмма: «Примите сердечное поздравление старого вашего почитателя Дмитрия Кипиани». Вообще же, для нашего героя в тифлисский период его жизни даже «государева служба» - источник интереснейших знакомств. Редактор «Закавказского вестника» Платон Иоселиани. Этот глубокий знаток грузинской культуры становится для Якова Петровича, говоря по-нынешнему, первым номером среди тех грузин, которые «добросовестно, не жалея трудов, начинают изучать грузинскую историю, собирать библиотеки, знакомиться с летописями, с языком древней национальной поэзии». Пожалуй, лучше и не скажешь о человеке, которого грузины и сегодня считают своим главным историком. Ну, а чиновник по особым поручениям при начальнике гражданского управления Закавказского края Михаил Чилашвили, известный своими публикациями по истории и этнографии, стал для Полонского просто приятелем «Мишкой». А еще среди грузин – добрых знакомых русского поэта – командир Грузинского гренадерского полка Илья Орбелиани, его супруга, представительница царского рода Варвара Грузинская, владетельный князь Гуриели и еще многие, многие, многие.

Повсюду я спешу ловить

Рой самых свежих впечатлений;
 Но, признаюсь вам, надо жить
 В Тифлисе – наблюдать – любить –
 И ненавидеть, чтоб судить
 Или дожидаться вдохновений...

Естественно, многое узнав в таком окружении о культуре и истории Грузии, Полонский не может не заинтересоваться и грузинским языком. Тем более, что это очень важно для выполнения его официальных служебных обязанностей – работой над статистическими данными всего края. Из-за нее он много ездит по Грузии, изучает ее, но это – другая, огромная сторона его жизни, и знакомиться с ней надо не на литературной странице. Остановимся лишь на одной любопытной цифре, выведенной Полонским после немалых усилий: в те годы в Тифлисе жило около 55,5 тысяч человек. И, отдавая дань Якову Петровичу как одному из пионеров статистики в Грузии, заглянем в созданные им словари. Там и целые фразы, и огромное количество грузинских слов, которые поэт использует не только в поездках, но и в своих произведениях, детально разъясняя их значение русскому читателю. А Мирза Фатали Ахундов, будущий великий азербайджанский писатель, тогда – переводчик в канцелярии наместника Кавказа, учит его азербайджанскому языку. Их дружба не прерывается и через годы, они переписываются, обмениваются публикациями, на одной из книг, посланных в Петербург, надпись: «Якову Петровичу Полонскому в знак памяти и дружбы от автора – Мирзы Фет Али Ахундова. 26 октября 1853 года».

Не меньше друзей и знакомых среди тех, кого в Тифлис привели из России самые разные причины, а объединяет одно: они надолго остались в этом городе, полюбили его. Ссылный польский поэт Тадеуш Лада-Заблоцкий вновь пробуждает в Полонском «неодолимую жажду высказываться стихами», оба переводят одну и ту же «Татарскую песню». С художником Григорием Гагариным поэт начинает серьезно заниматься живописью, которой увлекся еще в гимназии. Другие художники – Александр Бейдеман и Давид Гримм вообще живут у него. Их коллегу, издателя «Русского художественного вестника» Василия Тимма он, уже как знаток местной жизни, консультирует в выборе натуры для зарисовок. С писателем Владимиром Соллогубом его сближает интерес и к литературе, и к сцене – тот был назначен директором нового Тифлисского театра на площади Паскевича Эриванского. На открытии этого театра, превратившемся в «многолюдный, торжественный и блестящий бал», Соллогуб читает восторженно принятые публикой стихи Полонского... Список можно бы продолжать и продолжать, но это – удел историков и литературоведов. Так что, давайте, из всех этих салонов, со всех литературных вечеров и дружеских пиров вернемся вместе с Яковом Петровичем в столь полюбившийся ему Сололаки.

Для этого, как минимум, есть две причины. Одна из них хорошо знакома нам – все тот же дом Ахвердовых, в котором мы уже бывали вместе с Грибоедовым и Лермонтовым. Его хозяин Егор – уже не корнет, а сотрудник канцелярии наместника Кавказа, и его величают Юрием Федоровичем. Пасынок родственницы Лермонтова, воспитавшей жену Грибоедова, исследует творчество великого тифлисского ашуга Саят-Нова, и через несколько лет впервые опубликует биографию этого поэта и певца, погибшего, защищая родной город. А пока он знакомит Полонского с материалами, которые сумел собрать, и тот пишет статью, «предлагаемую читателям Кавказа». Вторая же причина для того, чтобы еще раз послушать, «как льется нагорный ключ во мгле заснувших Сололак», пожалуй, самая прекрасная на свете – любовь. Прочтем записку, которую оставляет другу Золотарев, заметивший, что тот под любыми предложениями исчезает с рабочего места в канцелярии: «О Яков, Яков, безалаберный, беспутный, влюбленный, рассеянный поэт, фельетонист, рисовальщик! Вчера ушедший ради фельетона, теперь сидящий над корректуру. Ты меня не надуешь... Ты или влюблен без памяти, или...»

Никаких «или», господа! Сололакскую любовь поэта зовут Софья Гулгаз. Пьяница-муж этой молодой армянки давно исчез, и она сама приходит к Полонскому, умело скрываясь от всевидящих глаз тифлиских соседей. На рассвете он рисует ее спящую... А когда Василий Тимм хочет нарисовать самую красивую женщину Тифлиса, влюбленный поэт предлагает ему сделать портрет именно Софьи. Он так живописует свою красавицу в прозе, что эти строки читаешь, как цветистую восточную поэзию. Там – и «как черный бархат, ее глаза... опущены длинными, кверху загнутыми ресницами», и «зубы ее, ровные, как подобранный жемчуг», и «посмеяться под веселый час она большая охотница, особенно когда дешевое грузинское вино заиграет жарким румянцем на щеках ее...» При этом Софья далека от образа кавказской скромницы, скорее, она – этакая тифлисская Кармен. Полонский ревнует ее и, как оказалось, не напрасно – своенравная Софья уходит к инженеру-офицеру:

Ты, с которой так много страдания
Терпеливо я прожил душой.
Без надежды на мир и свидание
Навсегда я простился с тобой...

А в прозе завершение тифлисской любви поэта выглядит так: «Я ревновал тебя потому, что любил, и потому, что имею причины ревновать... Дай бог тебе еще лучшего друга, нежели я, - одним словом, такого, который бы все переносил от тебя с терпением, к чему я не способен, и давал бы тебе больше денег, чего я не в силах». Позже он описывает Софью в рассказе «Тифлиссские сакли» под именем Магданы. Пришедший из России номер «Отечественных записок» с этим рассказом читает весь город. Прочел его Софье и ее любовник-инженер. Ни о чем не догадываясь. А вот она узнала себя, очень рассердилась и «дала слово никогда не связываться с писателями». Еще позднее друг пишет Полонскому: «Я недавно видел на Эриванской площади твою бывшую красавицу, - она все еще хороша, особенно глаза...»

Но, конечно же, не только свою возлюбленную зарисовывал Полонский, признавшийся, что «Тифлис для живописца есть находка». В его альбомах – множество рисунков, подтверждающих это восклицание, создающих «карту» его поездок по Грузии, ставших иллюстрациями к его произведениям. И все же, больше всего он любит рисовать именно город, в котором живет: «Уголок старого Тифлиса», «Церковь Святого Давида в Тифлисе», «Сакля Авлабара», «Караван-сарай в Тифлисе»... Вглядимся в листы с этими и другими работами и обнаружим: они нисколько не приукрашивают Тифлис, как того можно было бы ожидать после стихов и прозы, переполненных восторженной любовью к нему. Запечатленное Полонским далеко от парадности – нельзя лгать о том, что тебе дорого. Но любовь при этом не скроешь... И столица Грузии ответила русскому поэту тем же чувством. Она предоставила ему не только благодатную почву для возвращения в поэзию, но и страницы своих газет. А когда стихотворения, появлявшиеся на этих страницах, воплотились в сборники «Сазандар» и «Несколько стихотворений», большая часть их тиражей по подписке осталась именно в Тифлисе.

И лишь одним этот город огорчает поэта – той самой неудачной попыткой поставить в нем «Дареджану Имеретинскую». При этом Полонский прекрасно понимает, что здесь нет вины никого из живущих в Тифлисе: «...Чтоб она могла быть на сцене, нужно было добиться разрешения. Наместник имел право разорить любую неприятельскую область, построить театр или крепость, не спрашиваясь, но поставить пьесу на сцене не спросясь не имел права! Искать разрешение нужно было в Питере...» Деньги на неблизкую дорогу присылает из Рязани отец, мечтающий повидать сына. И поэт берет отпуск, чтобы «убить двух зайцев» - пробить дорогу пьесе и заехать к отцу. Выписывается подорожная «от Тифлиса в Рязанскую, Московскую губернии и в С.-Петербург и обратно чиновнику

канцелярии наместника кавказского титулярному советнику Полонскому...» Увы, обратно этот путь уже не был проделан...

С рекомендательным письмом самого Воронцова Полонский появляется у директора Императорских театров Александра Геденова, но тот отсылает его «по инстанции». И через пару месяцев ему советуют «о драме отложить всякое попечение и написать что-нибудь другое, а лучше всего ничего не писать». Как говорится, коротко и ясно. А тут еще и на деньги из Тифлиса рассчитывать не приходится – чересчур долго самовольно задержался в отпуске. И все же Полонский готов как-то добраться до Грузии, спрашивает совета у Золотарева, но тот отрезвляет друга: «Советую оставаться в Петербурге... Подумай, во что обойдется дорога сюда, снова обзаведение всем нужным».

Вот так проза жизни и победила поэта: «Вернуться на Кавказ я не мог, на дорогу не хватало денег, занять было не у кого – и я послал в Тифлис просьбу об отставке – признаюсь, послал не без невольного сожаления».

И мнится мне, что каменный карниз
Крутого берега, с нависшими домами,
С балконами, решетками, столбами,
Как декорация в волшебный бенефис,
Роскошно освещен бенгальскими огнями.
Отсюда вижу я – за синими горами
Заря, как жертвенник, пылает и Тифлис
Приветствует прощальными лучами.

Совету ничего не писать Яков Петрович, слава Богу, не последовал. Но до сих пор его любимый город не может спать спокойно, представляя, сколько еще замечательных строк они могли бы вместе дать миру – Полонский и Тифлис.

СТРАНИЦА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Как все-таки жаль, что по лицам людей, идущих навстречу по сололакским мостовым, нельзя определить, о чем они думают... Вот так же шел в середине 40-х годов к дому №6 на улице Энгельса (ныне носящей имя Ладо Асатиани) весьма необычный для местной публики мужчина – со светлыми длинными волосами, в длинном черном пальто. Всезнающие соседские мальчишки приписывали ему самые романтические по их мнению профессии: летчика, разведчика, ждущего важное задание, и даже известного вора. Но они ошибались – этот довольно замкнутый человек был «всего лишь» поэтом. Со своего последнего этажа он отправлялся не навстречу приключениям, а в редакции газет «Боец РКК» и «Заря Востока». И может, именно в те минуты, когда он шел мимо с детства знакомых, уже начинающих ветшать особняков, в голове его рождался призыв к тем, кто далек от города, раскинувшегося вдоль Куры: «Где бы вы ни находились, бросайте свои дела, берите билет, садитесь в поезд, на пароход и мчитесь на Кавказ. Вы не минуете Тифлиса. Ваши собственные глаза расскажут вам больше, чем перо беллетриста». В детстве этого человека звали Михаил Ковалев, на протяжении всей остальной долгой жизни – Рюрик Ивнев.

Вообще-то юные сололакские фантазеры были правы в одном: приключений в его жизни хватало. Правда, смертельно опасными они не были – коварный XX век уберег его от печальной участи многих других российских литераторов. Но при этом не дал ему главного для пишущего человека – такой же прижизненной славы, как его сотоварищам по легендарному Серебряному веку. Между тем, казалось, что предпосылки для этого были...

Тифлисская дворянская семья Ковалевых жила воинскими традициями. Отец будущего поэта – капитан от юриспруденции, помощник прокурора Кавказского военно-окружного

суда. Дед по матери, полковник Принц – потомок графа, приехавшего из Голландии на службу к Петру I. Все в его роду были только на военной службе. И вместо поэта Ивнева вполне мог бы жить на свете еще один офицер Ковалев, если бы трехлетний Миша не остался без отца. Овдовевшей матери семейства надо растить двух детей, она ищет работу и получает место начальницы Мариинской женской гимназии в Карсе. А Миша сначала живет в Тифлисе у бабушки, и от нее, с Грибоедовской улицы, ходит в верхний конец улицы Чавчавадзе – в Пансион остзейских баронесс девиц Тизенгаузен. Это заведение, где детей обучали начальной грамоте, готовя к гимназии, – у самого подножья Мтацминды. Горы, которую спустя годы Рюрик Ивнев назовет удивительной и добавит: «...Кажется, что эта гора охраняет город, доверчиво раскинувшийся у ее склона». А тогда в пансионе русский язык ему преподает некая «добрая Мария Львовна», и это, пожалуй, первый шаг восьмилетнего Миши к литературе.

Следующий шаг сделан уже в Тифлисском Великого князя Михаила Николаевича кадетском корпусе. Куда же еще отдать мальчика с такими семейными традициями? Но brave офицера из него так и не получится. Первые литературные опыты приходятся как раз на кадетскую пору. Вот – совсем детское, написанное в 11 лет: «Девушка по воду шла, / Кувшин на плече несла. / Завидя меня смутилась, / Как серна. Остановилась// И образ красавицы той, / Казалось, манил за собой». Дальше – больше: «Я очень увлекся нашими кадетскими журналами, читаю... Называют «истасканным», «исстрадавшимся» поэтом. Эти иронические названия с одной стороны меня обижают, но я вспоминаю, что и не таких как я, а самых великих поэтов и писателей тоже не раз подвергали строжайшей и несправедливой критике, напр. Надсона, Гоголя. Я не унываю, и писать продолжаю».

Но не только поэзия привлекает кадета больше, чем военные науки. В предполагаемом слуге царю и отечеству закипели революционные идеи. Во-первых, сказалось влияние соученика по корпусу Павла Павлова. Тот – тоже из хорошей, как говорилось, семьи: сын генерал-лейтенанта, племянник помощника наместника Кавказа. Да вот увлекся революцией, всюду участвует в массовых выступлениях 1905 года, а с годами вообще станет красным командиром, героем гражданской войны. Это – один из самых ближайших друзей Михаила, первый читатель и критик его стихов. Они будут поддерживать связи и за пределами Грузии. А приезжая в родной город, поэт Ивнев не раз остановится в семье Павловых, и ему даже будет сниться «тифлисский их балкон напротив Народного Дома», то есть, нынешнего Театра имени Котэ Марджанишвили. Ну, а помимо душевного друга, на кадета Ковалева влияет и тетя Тамара, родная сестра любимой мамы. Это, как говорится, еще та тетя!

«Правительство в моем лице приобрело хотя и не опасного для себя, но непримиримого врага», – пишет родным эта дочь полковника, вступившая в... «летучий отряд социал-революционной партии». И при этом кривит душой: она очень опасна, именно на нее, как пишут газеты 1906 года, «пал жребий умертвить барона А.В. Каульбарса». Говоря конкретней, командующего войсками Одесского военного округа, которого, между прочим, хорошо знал ее отец. И все выглядело бы комически, когда бы не было так печально. Воспользовавшись знакомством с дочерьми генерала, Тамара бывает у него в доме, однако там привести в исполнение «партийное задание» не удастся, и приходит мысль взорвать барона на улице. Но ридикюль с бомбой задевает пробежавший мальчишка, оттуда начинает валить дым, и террористка, отбросив заряд в сторону... стреляет в себя. До этой трагедии она уже успела основательно запудрить мозги племяннику-кадету.

В общем, можно понять, почему увлекшийся поэзией и свободолюбием 17-летний юноша решает продолжать учебу не в юнкерском училище, а пойти по другой отцовской стезе, более мирной – стать юристом. Он поступает в Петербургский университет, и там, в «Студенческом сборнике» в 1909 году впервые увидит напечатанным свое стихотворение – «В наши дни». В 1912-м он уже обличает «мораль сытых» в большевистской газете «Звезда», из-за чего вынужден покинуть столицу и перебраться в Московский

университет. Но мы не будем заглядывать в те политизированные строки, намного интереснее прочесть другие, написанные за год до них:

СТАРЫЙ ТИФЛИС

Толпа веселой лентой вьется,
Прозрачен воздух, даль его ясна,
И улица волнением полна,
Гортанный говор над Курой несется.

Поет грузин – ему легко поется,
И песнь его шумлива и хмельна.
Веселый люд собрался у окна,
И только перс конфетчик не смеется.

Куда ни глянь – живая бронза лиц,
Здесь солнце со всего земного шара.
Духан открыт. Звенят вино и тара.

Хмельная речь, как крылья небылиц,
Летит ко мне беспечной стаей птиц,
Лаская слух симфонией базара.

Вот такой сонет-репортаж с улиц города, милого сердцу Миши Ковалева. А с 1913-го мы уже никогда не увидим это имя ни под одним произведением. В том году у молодого человека – два знаменательных события: получение диплома юриста и выход первой книги стихов «Самосожжение». Он мечтает о псевдониме: «...Ну, кто, скажите, станет читать стихи какого-то там Михаила Ковалева, еще смеяться будут – не родственник ли он тому гоголевскому майору Ковалеву...» Псевдоним приходит к нему во сне – он видит свою книгу с фамилией «РЮРИКЪ ИВНЕВЪ». Так начинается жизнь поэта-эгофутуриста. Жизнь богемная – салоны, кафе для избранных талантов, диспуты... У его собратьев по футуристическому цеху тоже псевдонимы, на которых взгляд не может не задержаться: Константин Олимпов, Василиск Гнедов, С. Грааль-Арельский... Но главное, что он в кругу и таких имен как Александр Блок, Константин Бальмонт, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Игорь Северянин, Федор Сологуб, Михаил Кузмин, Вадим Шершеневич... Ему посвящают стихи Марина Цветаева, Анатолий Мариенгоф и, конечно, Сергей Есенин, ставший его другом. При этом Ивнев не приживается ни в одном модернистском течении, сменяя «Мезонин поэзии», «Центрифугу», «Орден имажинистов»...

А еще в этой новой жизни были поездки по миру – Германия, Дальний Восток, Япония. Был, как и у Блока и Кузмина, «роман» с большевиками, правда, затянувшийся:

А мы, юнцы, от счастья трепетали,
Умнее став сановных стариков,
И неуклюже руки пожимали
Спустившихся с трибун большевиков.

Зачарованный блестящими речами Анатолия Луначарского, он становится его личным секретарем, ездит по стране в агитпоезде его имени, становится по инициативе этого наркома председателем Всероссийского Союза поэтов, входит в Коллегию по организации Красной Армии... Но где бы ни жил Рюрик Ивнев, что бы ни писал, в какие бы скандалы

богемной жизни и политические течения ни был вовлечен, ничто не может затмить ему родного города:

...Океаны, моря и заливы,
Японская осень и древний Тифлис...
Они-то слезой и улыбкой счастливой
В одну неразрывную повесть сплелись.

И он приезжает в места детства если не ежегодно, то обязательно через пару-тройку лет. Вот, сразу после университета, в 1913-м, он даже пытается сменить Москву и Питер на работу в Тифлисской судебной палате, но вскоре чувствует «отвращение к ней». Вот, в следующем году навещает больную мать, еще через пару лет, прикомандировавшись к Тифлисскому Красному Кресту, живет вместе с ней у знакомых на Анастасьевской улице. Снова пытается остаться навсегда, но «произошли кое-какие перемены в планах».

И тут, дорогие читатели, взглянем на эту улицу из нашего времени. Многим поколениям тбилисцев она известна как Перовская, а теперь носит имя замечательной художницы Елены Ахвледиани, которую ее бывший сосед по улице Ивнев позже охарактеризовал так: «...Готова утопить большевиков в ложке воды, носящая демонстративно перстень с изображением Георгия Победоносца». Интересно заглянуть и в 1919 год. Рюрик читает в Тифлисе стихи о Ленине, и грузинское правительство высылает его. С 1921-го по 1923-й он опять живет в родном городе, а в 1936-м переезжает сюда аж на целые 14 лет. «Роман» с большевиками закончен, сгинули после арестов многие из тех, с кем он общался, он навсегда уходит с официальных постов и именно в Тбилиси начинает профессионально заниматься только литературой. Его стихи не запрещаются, но «широкому читателю» они многие и многие годы не были известны. Между тем, в Тбилиси, в 1940-х, за пять лет издаются три его сборника и даже книга избранного в переводе на грузинский. А вот, говоря по-нынешнему, необходимого пиара не было.

Конечно же, мечтающий о славе, но лишенный пробивных качеств, поэт переживает. Тем не менее, он – в блестящем кругу литераторов Георгия Леонидзе, Валериана Гаприндашвили, Акопа Акопяна, Иосифа Гришашвили, Михаила Джавахишвили, Симона Чиковани, актера Акакия Васадзе... С кем-то у него разногласия, кто-то ему ближе, как, например, Датико – Давид Арсенишвили, будущий основатель и первый директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве. Но в целом жить и работать в Тбилиси можно. Перевод на русский язык «Витязя в тигровой шкуре», сделанный Георгием Цагарели, он редактирует вместе с Владимиром Эльснером, шафером на свадьбе Ахматовой и Гумилева, будущим руководителем литературного объединения при газете «Молодой сталинец», где получили «путевку в жизнь» многие русские поэты Грузии. Редактирование сближает Ивнева с автором перевода, который к тому же написал сценарий фильма Михаила Чиаурели «Великое зарево». Так что, в кинотеатрах конца 30-х годов мы сможем увидеть Рюрика на экране. Правда, имя его в титрах не значится и Сталинской премии I степени, врученной создателям картины, он не удостоился. Роль была эпизодическая, да еще – Керенского.

В общем, на родине поэт работой не обделен, пишутся собственные стихи, переводятся грузинские. А еще всю идет работа над автобиографическим романом с многоговорящим названием «У подножья Мтацминды». Именно в нем – одни из лучших прозаических строк, написанных о Тбилиси. Вот – раннее утро: «Тифлис просыпается как-то особенно вкусно. Нигде так не ощущаешь жизнь, как здесь – город весь в ярких солнечных красках. А потому горечь здесь горше, радость – сильнее, а любовь прекраснее. Здесь даже ковры выколачивают с какой-то особой веселостью». А вот – вечер и тот самый уникальный вагончик фуникулера, который уже не могут помнить молодые тбилисцы: «Небо, обтянутое черным бархатом, сверкало бесчисленными звездами... Я закрыл глаза. Фуникулер медленно полз вверх. Мне казалось, что сердце

мое поднимается к небу по ступенькам, сложенным из человеческих ладоней... Когда вагон, вздрогнув, остановился, мне показалось, что этот толчок произошел от того, что сердце мое оборвало нить, связывавшую его с моим телом. И, может быть, когда-нибудь, вспоминая свою жизнь, я буду вспоминать не длинную извилистую тропинку лет, а эти несколько минут, во время которых мое сердце, как отдельное существо, поднималось на фуникулере на гору Святого Давида...» То же самое могут повторить тысячи и тысячи людей, хоть раз побывавших в этом вагончике и на этой горе, объединенных горожанами в одно имя собственное – Фуникулер. Только так, с большой буквы.

А еще Рюрик Ивнев, сам того не ведая, сплел для родного города удивительную связь времен. «Старушка продает на улице какие-то вешалки. Ей холодно. Она подпрыгивает, чтобы согреться. Это уже не простая уличная картина. Это – символ... «Ужасная катастрофа на Майдане. На горе прорвалось водохранилище...» Нет, дорогие читатели, эти картинки не из нынешних дней, хотя тбилисцам они явно покажутся до боли знакомыми. Первой из них 76 лет, второй – 57. И этой прозой жизни поэт засвидетельствовал, что во все времена при любом строе мы, увы, не защищены от катастроф – и социальных, и природных. Но давайте с грустных строк перейдем к другим, я бы сказал, вкусным. Ивнев восхищен не только самим городом, но и его кухней: «...Горячие чуреки, не изведав которых нельзя иметь даже приблизительного впечатления, что такое вкус хлеба; шашлыки, овульгаренные и опошленные всеми ресторанами мира, здесь, в Тифлисе, таковы, что о них преступно не упомянуть. А что может быть лучше тифлисских базаров? Красные помидоры, как бы говорящие: вот так должна выглядеть настоящая, здоровая кровь...» Это – тоже связь времен, с этим и сегодня согласится любой тбилисец, любой приезжий. Кроме, увы, местных властей, посчитавших, что лучше тифлисских базаров – супермаркеты. Но городскую традицию не убьешь, неукротимые базарные торговцы доказывают это в самых различных местах, демонстрируя истинность еще одной ивневской фразы о Тбилиси: «Город приходил в себя, забывая о видениях. Быть может, городам, как и людям, снятся сны...»

Город, живущий в его снах, Ивнев покинул в 1950-м и потом снова и снова приезжал в него, пока позволяли здоровье и возраст. А он ведь прожил очень много – не дожив лишь трех дней до 90-летия и написав последнее стихотворение за несколько часов до смерти. Похороненный в Москве, он больше трети жизни провел в Тбилиси, а когда ему было 80, посвятил живущим в нем друзьям пронзительное:

Пройдут года, ты будешь жить в Тбилиси.

Жена, заботы, голоса детей.

И вдруг найдешь случайно в груде писем

Стихи моих давно минувших дней.

На голос: - Папа, это ведь лексеби, -

Ты скажешь: - Да, - зажмуривши глаза, -

Должно быть, автор уж давно на небе,

Ведь это было много лет назад.

.....

И мозг, как будто освеженный ливнем,

Припомнит все! И крикнешь ты в ответ:

- Я вспомнил, сын, писал мне Рюрик Ивнев,

Когда мне было девятнадцать лет.

Земле, на которой он родился, в которой лежит его мать, Ивнев посвятил немало стихов: «Пушкин в Грузии», «В большой Москве часы и дни считаю...», «Грузии», «Могу ли я забыть...», «Кура», «Тбилиси»... Но, поскольку наша страница посвящена одному, конкретному месту города, не будем на этот раз перечитывать те стихи, а прислушаемся к

тому, что говорит один из персонажей романа «У подножья Мтацминды»: «Это – Сололаки, лучший район города. И я выбрал себе квартиру именно в этом районе».

СТРАНИЦА СЕМНАДЦАТАЯ

К тому, чтобы открыть именно эту сололакскую страницу, подтолкнула меня сценка на улице Галактиона. Девушка спрашивает у очень пожилой, как говорится, из далекого прошлого дамы, где здесь салон. В ответ из-под старомодной шляпки хитровато блестят глаза: «Салон Смирновых-Россет?» А потом, видя вполне ожидавшееся недоумение девушки, уже вполне серьезно, с легким вздохом дама добавляет: «Салон красоты вон там, за углом, их тут полно на каждой улице...» А ведь когда-то подобный разговор был попросту невозможен. Здешние особняки славились именно литературными салонами, в которых блистали лучшие поэты и писатели эпохи. Большая литература правила в Тифлисе бал, как и в лучших домах Петербурга, Москвы, Парижа.

Кстати, именно с Парижа все и началось. С Парижа и с Прекрасной Дамы. То есть, как всегда, «шерше ля фам»! Первый такой салон создала в XVII веке Катрин де Вивон, придворная Марии Медичи. Ее, супругу маркиза де Рамбуйе, прекрасно знавшую несколько языков и европейскую литературу (как это перекликается с уже встречавшимися нам тифлисскими красавицами!), слабое здоровье лишает возможности участвовать в жизни монаршего окружения. И мадам переносит часть светского общества в свой особняк недалеко от Лувра. Так, в 1617 году, рождается интеллектуальный салон (на французском *salon* – гостиная, комната для приемов). Хозяйка подбирает гостей в соответствии со своими интересами, благо, салон оторван от королевского двора и можно не отдавать дань условностям социального происхождения и имущественного положения. Гости вечеров – поэты, философы, музыканты, но беседы ведутся, в основном, на литературные темы. А о чем еще могут говорить Корнель, Мольер и члены Французской Академии, занимающиеся реформированием французского языка? Ну, а в центре внимания, обязательно, – очередной приглашенный гений. И пошло, поехало по Европе... Причем, хозяйки салонов – *saloniere* – обретают солидный авторитет в «свете», их взгляды и оценки создают моду не только на стиль одежды, но и на произведения литературы и искусства.

Вы можете удивиться: а с чего это здесь уделено столько места всей этой «салонной» истории? Очень просто – и весь Тифлис, и его старинный район в часы досуга всегда ставили (и ставят!) во главу угла наслаждение красотой, песнями, стихами, застольной беседой. А все это, практически, и было смыслом салонов, которые самым естественным образом «переселились» в Грузию, «прихватив» из России примечательную традицию – большинство «салонье» уже не женщины, а мужчины. Впрочем, сегодняшним многочисленным защитникам прав женщин не стоит особо возмущаться. Ведь на предыдущих страницах мы уже видели салоны Маико Орбелиани и Прасковьи Ахвердовой в первой половине XIX века, в середине того же столетия блистал салон Мананы Орбелиани. Тот самый, который попал в «Хаджи-Мурат» Льва Толстого. И в котором зародилась идея создания первого тифлисского грузинского театра. Но во многих салонах, которые просуществовали в городе на протяжении всего XIX века, *saloniere* были мужчины – Маmia Гуриели, Григорий и Александр Орбелиани, Давид Дадияни и, конечно же, Александр Чавчавадзе... Все они – литераторы, что и определяет основной характер вечеров, собиравших грузинскую и русскую интеллигенцию. Но и в их домах во многом правят бал красавицы-родственницы, при которых гости становятся тоньше и любезнее. И ради прелестного взгляда которых звучат стихи и музыка, рождаются импровизации.

Да что там писатели и эмансипированные красавицы! Давайте, заглянем в дом самого командира Отдельного Кавказского Корпуса, главноуправляющего гражданской частью и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказской области барона Григория Розена. Вот, что свидетельствует в 1833 году французский ученый и путешественник Фредерик Дюбуа де Монтере: «Дом генерал-губернатора был

по праву центром дел, так же, как и отдыха. Он задавал тон. В течение всей зимы каждое воскресенье здесь бывали приемы, игры, беседы, ужины. Здесь всегда встречались люди, с которыми хотелось поговорить». Более того, мсье де Монтере, сравнивая дом Розена с салонами Парижа, просто восхищен тем, что среди «вполне европейского общества» достойное место занимают представители грузинской аристократии. А где же стоял столь замечательный дом? Слово – офицеру и дипломату, писателю и разведчику, участнику Кавказской войны Федору Торнау: «...У подошвы горы Св. Давида. Большой двухэтажный дом, снабженный рядом арок и колоннадой над ними во всю длину главного фронта, с боковым фасом, поднимавшимся в гору уступами, и обширным садом... В стенах этого дома помещались все генералы, командовавшие на Кавказе... Все они строили и пристраивали, меняли и охорашивали...» Конечно же, вы догадались: это здание коренные тбилисцы все еще называют «дворцом наместника» или «дворцом пионеров», хотя теперь, официально, здесь Дворец учащейся молодежи. От него и уходит в гору район Сололаки...

Ну, а если таков начальник, то разве могут быть иными его подчиненные – русская молодежь, неожиданно для себя оказавшаяся в среде просвещенных грузинских ровесников и очаровательных дам? Вот и проходят литературные вечера в доме писателя Николая Титова, служащего при штабе Отдельного Кавказского корпуса, музыкальные – у ординарца корпусного командира графа Девиера... И в этих салонах, и в домах тифлисцев рядом с грузинскими поэтами Александром Чавчавадзе, Григолом Орбелиани, Николозом Бараташвили, философом Соломоном Додашвили и многими другими – ссыльные декабристы Александр Одоевский, братья Павел и Александр Бестужевы, Александр Корнилович, Павел Нарышкин, Петр Коновницын, Валериан Голицын, Павел Каменский... В общем, в 1830-х годах Торнау делает заключение, что тифлисское общество «очень разбогатело людьми, с которыми приятно было жить». Через полтора десятка лет ему вторит не кто иной, как граф Лев Толстой: «Тифлис – цивилизованный город, подражающий Петербургу, ... общество избранное и большое».

И душа этого общества – столь славные тифлисские салоны, «приют муз и красоты». Судя по многочисленным воспоминаниям, они не только не уступали петербургским и московским, но были еще и... более теплыми, что ли? Может, и не ярче светили лампы, но оживленнее звучал смех, жарче разгорались споры...

Однако век XIX близится к концу и, постепенно, салоны, атмосфера которых определялась личностью хозяина, его семейными связями, положением в обществе, уходят в прошлое. На дворе – начало прошлого столетия. Центр литературной жизни перемещается в более профессиональные объединения, которые, как правило, имеют устав, регламентирующий входящих в них литераторов – различные сообщества, кружки, студии, объединившие творческих людей по взглядам. Грузинская интеллигенция по-прежнему ориентируется на интеллектуальную жизнь России. А в той правят бал Серебряный век и всевозможные «измы». Которые просто не могут не взойти и на тифлисской почве, когда в Грузию хлынули, спасаясь от победивших большевиков, русские поэты, художники, актеры. И с 1917-го по 1921-й столица Грузии становится не только очагом русской культуры за пределами России, но и общеевропейским культурным центром. Эпитет «Тифлис – маленький Париж» звучал тогда на каждом шагу, и именно Париж затем принял у этого города эстафету, принятив цвет российской эмиграции. Да и Берлин с Харбином сделают то же самое, уже после Тифлиса.

Двери тифлисских домов и подвальных распахиваются перед Искусством! В единственной комнате «Фантастического кабачка» на Головинском проспекте №12 собирается до 50 человек, в соседнем доме – «Ладья аргонатов», в студии пианиста Бендицкого на улице Чавчавадзе №3 – «Павлиний хвост», в здании нынешнего Театра Руставели – «Химериони»... А еще были «Братское утешение», «Медный котел» и прочая, прочая, прочая. Конечно, это не салоны в прежнем понятии. Артистические кафе и клубы, где вход – платный, и нет единого хозяина, собирают и символистов, и

акмеистов, и футуристов, и всех, кто не причисляет себя ни к одному литературному течению. Тифлис рад всем! На сценах кафе и студий, за столами рестораников и у ног красавиц – Сергей Судейкин и Ладос Гудиашвили, Николай Евреинов и Кара Дарвиш, Осип Мандельштам и Паоло Яшвили, Василий Каменский и Тициан Табидзе, Игорь Терентьев и Григол Робакидзе, Алексей Крученых и Илья Зданевич, Савелий Сорин и Александр Бажбеук-Меликов, Сергей Городецкий и Зига Валишевский...

А в городе, как всегда, немало поэтических женщин, унаследовавших славные традиции прошлых лет – гостей принимают и салоны в «чистом виде», где хозяйками блистают Мелита Чолокашвили, Тамара Канчели, Мэри Шервашидзе... Члены кружка «Медный котел» несколько раз собираются у Софьи Меликовой, а в доме княгини Елизаветы Эристовой царят не только литература, но и теософия, включающая даже сеансы с медиумом. Вносят свою богемную лепту и приезжие дамы. Так, на вечерах в квартире Нимфы Бел-конь-Любомирской на стол к ужину обязательно подают... глыбу льда, в которой заморожены алые розы. Вообще-то, хозяйка квартиры – никакая не Нимфа, а Анна Городецкая, урожденная Козельская, жена основателя «Тифлиссского цеха поэтов» Сергея Городецкого. Но раз, уж, выбран столь уникально-пышный псевдоним, приходится ему соответствовать: лед разбивается топориком, и розы, к всеобщему восторгу, раздаются гостям-поэтессам...

Об этой золотой для Тифлиса поре написаны тома воспоминаний и исследований, поэтому не будем повторяться, а обратим внимание на то, какие новые значения обретает слово «салон». В словарях уже значится «устаревшим» понятие «литературно-художественный или политический кружок избранных лиц, собирающийся в частном доме». Зато вполне современны «помещение для выставок, магазин художественных изделий, ателье, парикмахерская», а также «внутреннее помещение судна для пассажиров». Что ж, господа, когда меняется эпоха, наивно ждать, что поменяется только смысл слов. Двадцатый век, принесший желание стричь всех под одну гребенку не только в салонах парикмахерских, вынуждал многих заполнять салоны пароходов, уходящих в дальние края. Вот так, из салона судна, приплывшего «не туда», попадают в Тифлис знаменитый художник Сергей Судейкин и его очаровательная супруга Вера. В апреле 1919-го они отправились из Ялты в Константинополь, чтобы оттуда добраться до Франции. Но все происходит прямо по Шекспиру – судно попадает в бурю, теряет курс и вместо турецких берегов оказывается у грузинских. Но не стоит говорить, что Судейкиным не повезло – они оказались в «тифлиском Серебряном веке». И Вера Артуровна стала хозяйкой еще одного салона. Он имеет самое непосредственное отношение к Сололаки – недолго прожив в подвальчике на Грибоедовской, Судейкины затем принимали гостей в доме №22 на Вельяминовской улице, ныне – Шалвы Дадиани. И именно здесь уникальным тифлиским циклом пополняются начатые ею за три года до этого дневник и альбом, который так и вошел в историю литературы под названием «салонный». Откроем его и погрузимся в удивительный мир, объединивший замечательнейших представителей русской и грузинской культур.

Автографы, стихи, рисунки, нотные записи, фотографии... Многие из них созданы специально для этого альбома и посвящены хозяйке. Руке Ладос Гудиашвили принадлежат зарисовки из жизни кафе «Химериони». Тициан Табидзе – первый, с кем Судейкин подружился в Тифлисе – вписал на грузинском стихотворение «Автопортрет». В нем, в переводе Бориса Пастернака, есть такие строки: «Профиль Уайльда. Инфанту невинную/ В раме зеркала вижу в гостиной./ Эти плечи под пелериною/ Я целую и не остыну...» Другой «голубороговец» Григол Робакидзе записал на русском языке стихотворение «Офорт» – отклик на театральные декорации Судейкина: «Дремотный сон в золе томлений./ Струи червонных тяжких кос./ И рдеют белые колени/ На лоне бледных смятых роз...» Здесь же – три стиха человека, собиравшегося стреляться с Робакидзе из-за... спора, можно ли рифмовать «астра-карта». Это – экономист и литератор, тифлиссский адепт фрейдизма Георгий Харазов. Знавший Судейкиных еще по петроградской

«Бродячей собаке» Илья Зданевич прямо на Вельяминовской сочинил и записал заумный футуристический стих. Еще одному питерскому знакомому Судейкиных, одному из основателей в Тифлисе «Фантастического кабачка» и «Цеха поэтов» Юрию Дегену отведены целых три страницы. В стихотворении «Карнавал» Деген, расстрелянный через год, пишет пророческое: «Очнитесь, маски! Поздно будет.../ Кончается веселый сон./ Порвется сердце как пистон,/ И к жизни смерть вас всех разбудит».

Присутствуют в альбоме и два друга – режиссер, драматург Николай Евреинов и Василий Каменский, стихи которого хозяйка салона не раз декламировала на сцене. Судейкин зарисовал их обоих, а Каменский сделал шутливое посвящение его жене. Рядом – графический автопортрет выдающегося скульптора Якоба Николадзе. Кирилл Зданевич представляет цветную кубофутуристическую композицию, а Зига Валишевский – акварельный эскиз плаката на тему цирка: «Наездница Маруся». Сергей Городецкий преподнес Судейкиным стихи и зарисовки о посещении ими Баку, а Василий Катанян – будущий супруг Лили Брик и биограф Маяковского – занял двумя стихотворениями два листа. Оставили свои «следы» поэт, драматург Сергей Рафалович, вместе с Судейкиными бежавший из Петрограда, поэт-футурист, художник Игорь Терентьев и местная молодежь – в будущем писатель-фантаст Юрий Долгушин, забытый ныне футурист Александр Чачиков, он же – Сандро Чачикашвили, поэт Георгий Евангулов...

Вот такие удивительные послания с «тифлисского Парнаса» начала XX века. Эпохи, в которой служители российских муз, разными путями оказавшиеся в Грузии, жили одной с местными творцами судьбой. И которая закончилась в 1921-м, с приходом Красной Армии. После этого литературно-художественных салонов, в их исконном понимании, мы уже не встретим в Тбилиси на протяжении целых семи десятилетий. Были союзы и объединения под бдительным оком государства, а салонный век, казалось, канул в небытие. Да и самому слову «салонное» кухарки, пришедшие управлять государством, придали уничижительный, чуть ли ругательный оттенок. Мол, это нечто внешне красивое, но поверхностное, жеманное, даже пошленькое. А ведь главные отличия литературного салона – тепло и радушие дома, хозяин, собравший друзей, лампа, в свете которой звучат рифмы – так необходимы человеку в самые разные эпохи! Именно поэтому в разгар советского застоя всех приезжавших в Грузию русских литераторов принимал на сололакской улице Галактиона самый настоящий, возникший вопреки жесткому надзору, салон Эллы Маркман, с который мы уже встречались на предыдущих страницах. Располагался он, в полуподвальной комнате, но отнюдь не из-за богемной традиции – для женщины, более 8 лет проведенной в ГУЛАГе, другого жилья не нашлось...

Вообще-то, и в наше время некоторые поэты относятся к салонам настороженно. Вот мнение живущего в Монреале Бахыта Кенжеева: «Если ЛИТО (литературное объединение – В.Г.) - школа для молодых поэтов и площадка для единомышленников, то салон – дело другое... Там, если я не ошибаюсь, упор на выступления, то есть учебный момент отсутствует». Ему вторит из Нью-Йорка Андрей Грицман: «Литературные салоны, как правило, заиклены на себе и своем локальном литературном процессе». Возможно, они правы. Но удивительное дело: когда, в очередной раз, возвращаются смутные времена, особенно острой становится потребность в уютном доме, где собираются единомышленники, где внимательно выслушают и разберут новые стихи. В тяжелейших для тбилисцев 90-х годах прошлого века противовесом хаосу и стрельбе, холоду и внезапным отъездам друзей мог стать только дом. Вспомним Михаила Булгакова: «Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен». Вспомним Василия Розанова: «Вечное дано нам только в повседневном... в «паутинках быта», в пространстве дома». И тбилисские литераторы находят такой дом. Он – опять в Сололаки, на улице Мачабели, 9.

«...Жизнь становилась очень трудной... Было холодно, как никогда в Тифлисе... Сидели вокруг печурок закутанные люди и читали стихи. Электричество тухло ежеминутно, а если и горело, то читать при нем было невозможно. Появились керосиновые лампы. Голод

и холод остановил эту деятельность». Так и кажется, что Мелита Чолокашвили описывает не последние дни «Цеха поэтов» в начале 1920-х, а то, что происходило в 1990-х в квартире действительного члена «Союза потомков Российского Дворянства – Российского Дворянского Собрания» Глеба Коренецкого. Этот физик, пишущий стихи и переводящий грузинских поэтов, с 1995 года, создав кружок «Музыка слова», собирал в своей квартире практически всех, пишущих в Тбилиси на русском языке. В отличие от «Цеха поэтов», голод и холод не остановили деятельность «Музыки слова». На «орбите» этого кружка-салона объединились в нелегкие годы более 70 человек. Здесь они издавали свои первые книжки, отсюда многие стартовали к литературным премиям и признанию читателей. А России «Музыка слова» подарила шеф-редактора отдела поэзии «Литературной газеты» Игоря Панина.

Я встречаю Глеба Коренецкого на сололакских улицах почти каждый день. Ему уже 85 лет, «птенцы гнезда» его разлетелись, а он так решительно смотрит вперед, что кажется: созревает очередная автографическая книга. Их уже около 30-ти – отпечатанных на машинке, оформленных и размноженных на ксероксе. Кстати, мы часто проходим с ним мимо дома на улице Леонидзе (бывшая Кирова), где еще одна подвижница – Жанна Волинова собирает членов общества «Реликвия». По разным знаменательным датам приходят к ней люди, не утратившие тягу к творчеству. Проводят конкурсы, посвященные любимым русским поэтам, получают любовно изготовленные грамоты. Чем не салон, правда, без именитых гостей? Пусть простят меня не попавшие на эту страницу друзья из тбилисских поэтических объединений и ассоциаций. Но мы ведь заглядываем лишь в литературные салоны, которых так немного...

Ох, как мне хотелось бы, дорогие читатели, предложить вам войти в дом №22 на улице, которую коренные горожане и сейчас называют не иначе, как Вельяминовской. И не только потому, что туда, к Судейкиным, приходили такие замечательные люди. Это был один из красивейших особняков района. Но, увы, сегодня в него не попасть – старинная ограда заперта на замок, а двери забиты. Уникальное здание годами рушилось буквально на глазах сололакцев. И сейчас, глядя пустыми глазницами окон, за которыми не потолок, а небо, оно ждет решения своей участи. А салон находится всего лишь через четыре дома. И, конечно же, это салон красоты, то есть, одна из парикмахерских, заполонивших окрестные улицы. На небольшом сололакском пяточке – еще три таких безымянных, среди других оригинальностью названия привлекает «Пикассо» (интересно, ориентируясь на какие рисунки, там делают прически?). Остальные – «Максима», Fashion style (с упавшей буквой F), «Ира», «Стиль», «Анно», Max style и, конечно «Сололаки». Есть и массажный салон (в хорошем понимании слова).

Прямо скажем, далеко все это от «Павлиньего хвоста» и «Медного котла». Но, каково время, таковы и салоны – по содержанию и по названиям...

СТРАНИЦА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Иногда кажется, что именно Тифлису-Тбилиси, с его старыми районами, самой судьбой велено открывать и перелистывать начальные и конечные страницы той великой поэтической книги, которая зовется «Серебряный век». И вместе со стихами бережно хранить тайны любовных романов удивительных пар, прославивших своими строфами этот самый век. Откроем несколько таких страниц – они отмечены записями о венчаниях, которые прошли в церквях далеких друг от друга городов, но неотделимы от Тбилиси.

С двумя великими именами русской литературы – Анны Ахматовой и Николая Гумилева – район Сололаки связывает менее громкое имя – Владимир Эльснер. Современники поразному относились к этому поэту, уроженцу Киева, большую часть жизни, начиная с гражданской войны, прожившему в Тбилиси. Еще в далеком 1909-м Гумилев включает его стихи во 2-й и последний номер журнала «Остров» наравне со стихами Александра Блока, Алексея Толстого, Андрея Белого, Сергея Соловьева и посвящает ему стихотворение «Товарищ». Через два года Эльснеру же посвящает свой первый сборник

«Флейта Марсия» Бенедикт Лившиц. А вот Блок упоминает его как «киевского издателя» - Эльснер составил целых четыре тома самой полной и очень популярной в конце 1900-х годов «Антологии современной поэзии». Правда, в своих дневниках Александр Александрович называет его еще и «выездным лакеем». Наверное, потому, что молодой киевлянин очень тянулся к петербургским символистам. Резок и Валерий Брюсов, обозвавший первый сборник 27-летнего Владимира «подогретой водкой». Что ж, и в те времена поэты были беспощадны к творчеству собратьев по цеху. Но зато, спустя десятилетия, мы услышим от Николая Тихонова эпитет «всекультурнейший Эльснер», а редактор издательства «Заря Востока», художник Георгий Мазурин засвидетельствует: «Пастернак, бывая в Тбилиси, часами разговаривает с ним. Это что-нибудь значит?!» Конечно же, значит, дорогие читатели! И, чтобы убедиться в этом, заглянем в Киев начала прошлого века.

Именно там, в 1909-м, впервые встречаются два поэта-ровесника из Серебряного века. Обоим по 23 года, один шесть лет назад навсегда покинул дом №6 на Сололакской (ныне – Леонидзе) улице в Тифлисе, другому через девять лет предстоит навсегда поселиться в доме №8 на той же улице. Первого зовут Николай Гумилев, второго – Владимир Эльснер. Киевлянин, уже известный не только как поэт-модернист, но и как переводчик (он первым перевел на русский «Пьяный корабль» Артюра Рембо) - завсегдатай литературного салона преподавательницы женской гимназии Софьи Зелинской. Там собирается весь цвет местной интеллигенции, и там его имя звучит наравне с именами поэтов Михаила Кузмина и Бенедикта Лившица, художников Марка Шагала, Казимира Малевича, Натана Альтмана. В этом салоне мы увидим и молодого декадента, которого охотно печатают небольшие издания, но который вынужден зарабатывать на жизнь то бухгалтером в гостинице, то продавцом открыток, то грузчиком арбузов. Прочтем, как называет Эльснер в одном из писем этого мало кому известного юношу: «...Милый мальчик Саша Вертинский (я не уверен, что правильно пишу его фамилию)»...

И вот поэт, известный всему Киеву, имеющий полное право отзываться о безвестном пока Вертинском как о «милом мальчике», решает организовать вечер современной поэзии и пригласить обретающих всероссийскую известность петербуржцев. Поначалу вечер срывается – местная пресса запестрела нападками на молодых поэтов. Но Эльснер проявляет недюжинную энергию, сам берется выступать и в итоге мы уже читаем такое объявление: «Сегодня, 29 ноября, «Остров искусства» - вечер современной поэзии сотрудников журналов «Аполлон», «Остров» и др. Михаила Кузмина, графа Ал.Н. Толстого, П.Потемкина и Н.Гумилева при участии Ольги Форш, В.Эльснера, К.Л. Соколовой, Л.Д. Рындиной и др... Начало ровно в 8 1/2 ч. вечера».

Почему же мы уделяем этому вечеру такое внимание? А дело в том, что Гумилев пригласил на него студентку киевских Высших юридических курсов Анну Горенко, которую знал еще по Царскому Селу и которой не раз безуспешно объяснялся в любви. Именно после этого вечера они долго бродили по городу, зашли в гостиницу выпить кофе, и Анна ответила согласием на очередное предложение Николая. А когда они пришли венчаться в маленькую церквушку под Киевом, оказалось, что будущий тифлисец Эльснер – не только организатор судьбоносного для них вечера. Бывший тифлисец Гумилев попросил его быть на свадьбе одним из шаферов, по-нынешнему, свидетелей. Так что, Владимир Юрьевич сыграл особую роль в том, что перед нами – следующий документ: «Означенный в сем студент С.-Петербургского университета Николай Степанович Гумилев 1910 года апреля 25 дня причтом Николаевской церкви села Никольской Слободки, Остерского уезда, Черниговской губернии обвенчан с потомственной дворянкой Анной Андреевной Горенко, что удостоверяем подписями и приложением церковной печати».

Потом они пошли разными путями. О том, чем закончились пути Ахматовой и Гумилева говорить, конечно же, излишне. Поэтому попытаемся посмотреть, каким же путем Эльснер оказывается в Тифлисе. Впрочем, сделать это не так уж легко. Можно увидеть,

как перед Первой мировой войной он издает собственные сборники стихов, переводит, выпускает антологию современной немецкой поэзии. А потом – пожарища революции и гражданской войны, сквозь дым которых Эльснер обнаруживается уже в столице Грузии... И тут, дорогие читатели, стоит особенно приглядеться к тому, какие фантастические метаморфозы происходят с этим человеком.

С 1918 года он живет в Тифлисе, в хорошо знакомом сололацком доме с аптекой Оттена и в то же время находится в «резерве чинов Кубанского Казачьего Войска Добровольческой армии». То есть, деникинской белой армии. Он входит в «Тифлисский цех поэтов», созданный Сергеем Городецким, и числится в отделе пропаганды ростовского ОСВАГ. А это – «Осведомительное агентство», то есть, информационно-пропагандистский орган Добровольческой армии, а затем – белых Вооруженных Сил Юга России. Он публикует декадентские стихи в альманахе «АКМЭ», изданном «Тифлисским цехом поэтов». А в журнале ОСВАГ «Орфей» он же печатает статью «Цинические эксцентрики», в которой обрушивается на Сергея Есенина «выпустившего в Совдепии два сборника своих стихов «Голубень» и «Преображение»...

Вообще-то, с приходом большевиков в Грузию такая «двойственность» мало кому сошла бы с рук. Тем более, что Эльснер отличился и в уже советской Москве, став одним из колоритнейших героев романа-хроники «Богема» еще одного тбилисца – Рюрика Ивнева. Он не только выступал со стихами в трусах, фуфайке, с золотым обручем на голове. Не только использовал для обольщения сеансы гипноза, раздавая дамам визитные карточки с надписью золотом: «Владимир Эльснер, поэт жизни. Учитель новых радостей. Магнетизер, массажист». Не только глупой шуткой чуть было не подтолкнул Владимира Маяковского к дуэли. Он еще и открыто подтрунивал над советской властью, коммунистами, чекистами. Да и уже много позже, в Тбилиси, славился своими любовными похождениями, а на загородных пикниках организовывал танцы в простынях. И при всем этом читал лекции по «коммунистической эстетике искусства» в университете и консерватории, писал правоверные советские стихи. Кстати, его антибольшевистские выступления в деникинских газетах по сей день хранятся в библиотечных фондах. Словом, все те же метаморфозы...

Прямо скажем, многогранная личность, умеющая выходить из сложных жизненных ситуаций, используя свои способности. Именно поэтому можно увидеть, как во второй половине 1930-х он редактирует одобренный Москвой перевод Георгия Цагарели поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Как руководит в Союзе писателей Грузии работой с молодежью, а в конце 1940-х – литературным объединением при газете «Молодой сталинец». Еще он смог выпустить в издательстве «Заря Востока» две книжки со стихами про экзотику азиатских и африканских стран. И уже в солидном возрасте ошарашивал собеседников несколькими фразами. Первая – утверждение, что именно он научил Ахматову писать стихи. Вторая – вопрос: «Вы, случайно, не воруете книг?» Впрочем, это понятно. Богатая эльснеровская библиотека славилась и за пределами Тбилиси, на ней вырос не один молодой литератор. Вдобавок Владимир Юрьевич любил похвастаться, что «еще не перестал к жене приставать – воздух Грузии этому способствует». Кстати, последняя его жена заслуживает особого нашего внимания. Можно сказать, что она – еще одна ниточка, тянущаяся с Сололакской улицы в большую русскую литературу. Это – Ольга Верховская, которая некогда росла на той самой питерской улице Бассейной, где жил Человек Рассеянный, воспетый Самуилом Маршаком. Ее мать воспитала брошенную родителями племянницу Марину Малич, и девочки считали себя родными сестрами. Именно Верховская в своей квартире познакомила кузину с поэтом Даниилом Хармсом. Ставшим мужем Марины...

А про саму Ольгу Верховскую можно сказать, что она поступила в духе неординарных героев произведений своего зятя Хармса. Когда в 1964 году газета «Вечерний Тбилиси» сообщила читателям, что скончался Владимир Эльснер, немало горожан отправилось в Союз писателей, чтобы попрощаться с одним из последних поэтов Серебряного века. Но

покойника там не оказалось. До сих пор в различных литературных источниках ходит легенда, что Ольга Николаевна тайно увезла тело и погребла его в Переделкине, рядом с самим Пастернаком. Но могила Эльснера в списках мемориального подмосковного кладбища не значится. А современники поэта, которые, к счастью, ныне здравствуют, и к которым я полон доверия и уважения, утверждают: жена и впрямь увезла останки Эльснера, но захоронила их в Москве. И помогал ей в этом никто иной, как Николай Тихонов. А дальше – уже настоящая трагедия. Вернувшись в Тбилиси, Ольга Верховская покончила с собой. Уникальная библиотека поэта выкинута из опустевшей квартиры в подворотню и увезена в мусоровозах. Еще одна печальная метаморфоза в судьбе поэта-жизнелюба.

Что ж делать – последние страницы жизни всегда грустнее первых. Но Тбилиси умеет с легкостью фокусника тасовать их, устроив так, что последний дом Эльснера соседствует с домом, где прошли юные годы Гумилева. Впрочем, тут все по соседству. Достаточно вспомнить, что за 15 лет до появления семейства Гумилевых, по улице, расположенной совсем недалеко отсюда, ходила зеленоглазая юная особа. Которой предстояло завоевать титул «декадентской мадонны», вдохновительницы и одного из самых беспощадных критиков своей эпохи. Итак, распахнем тифлисскую страницу жизни Зинаиды Гиппиус. И удивимся тому, сколько на ней совпадений с такой же страницей гумилевской жизни.

Николая привозят в Тифлис родители, опасаящиеся за жизнь сыновей – сам он постоянно болеет, а у его старшего брата Димы появились симптомы туберкулеза. Семью Гиппиус в столицу Грузии тоже приводит страх за детей. Отец умирает от туберкулеза, по месту службы на Украине, мать с четырьмя дочерьми, бабушкой и сестрой перебирается в Москву, а там и у Зины открывается легочное кровотечение. Денег в семье практически нет, а врачи рекомендуют юг. И опасаясь, что дети унаследовали склонность к туберкулезу, мать снимает дачу в Ялте. Всего на год – тогда особой дороговизны в Крыму не было. А когда этот срок истекает, семья в затруднении – куда и на какие средства ехать? Помощь приходит из Тифлиса, от брата матери Александра Степанова. Слово – самой Зинаиде: «Он уже давно жил в Тифлисе – был адвокат и даже издавал газету... Переезд нашей семьи на Кавказ разрешал много затруднений и вопросов. Во-первых – вопрос материальный. Дядя был почти богат, он брал к себе бабушку (свою мать) и тетку (сестру). Жена его с детьми вернулась из Швейцарии, и лето мы должны были провести все вместе, в горном Боржоме, - и тут разрешался и вопрос о климате, - о моем здоровье, которое должно было укрепиться».

Так что, 16-летняя Зина, появившись на берегах Куры в 1885-м, поселилась у дяди. И разве не интересно узнать, где же он был – ее первый тифлисский дом? Перелистаем «Кавказский календарь» за 1875 год, и он сообщит, что присяжный поверенный Степанов Александр Васильевич, редактор ежедневной газеты «Новое обозрение», жил на Давидовской улице в доме Капанова. То есть, на нынешней улице Бесики. Так что, поселились Гиппиусы совсем рядом с Сололаки. Целительный воздух Грузии помогает им, как и Гумилевым – с Зиной происходят разительные перемены. «Маленьким человеком с большим горем» называли в московской гимназии вечно печальную девочку. В Тифлисе же мы видим высокую красавицу с роскошными золотисто-рыжими волосами и изумрудными глазами. И в самом городе, и в Боржоми она оказывается в центре общества. В компании молодых офицеров и барышень, студентов и гимназистов танцует, читает стихи, гарцует на лошади, гуляет по горным тропам. Тифлисская молодежь покорена, называет ее «поэтессой», признавая литературный талант, предложения руки и сердца следуют одно за другим.

Как и юный Гумилев, она увлекается театром: «После ялтинских опереток я пристрастилась к опере, а опера тогда, в Тифлисе, была превосходная. В ту пору приезжал Чайковский (мы его видели в театре), и с удовольствием слушал своего «Евгения Онегина». Как и Гумилев, впервые влюбляется в 16 лет: «В Тифлисе, настоящая любовь – Jerome. Он молод, добр, наивно-фатоват, неумен, очень красив, музыкант, смертельно

болен. Похож на Христа на нестаром образе. Ни разу даже руки моей не поцеловал. Хотя я ему очень нравилась – знаю это теперь, а тогда ничего не видела. Первая душевная мука». Ну, а последующие влюбленности заканчивались в дневниках (а как же такой барышне без них!) записями, подобными этой: «Я в него влюблена, но я же вижу, что он дурак». Для пылких, но недалеких умом ухажеров она слишком начитанна – как и Гумилев занялась в Тифлисе самообразованием, читает запоем.

Первое лето в Боржоми оказалось сказочным. «Это была, и вправду, новая жизнь. После Москвы, после скучной крымской дачи – музыка, танцы, верховая езда... Для шестнадцатилетней провинциальной барышни – нельзя лучшего и желать», – признается она. Не скучно и зимой, уже на другой квартире – все живут мечтами о Боржоми. Но, в итоге, приходится по сололакским мостовым подниматься в Манглиси, который предпочел дядя. Лето заканчивается трагически – присяжный поверенный Степанов умирает прямо на курорте. Рассеиваются представления о его состоятельности. «Богатство» дяди Александра оказалось доходами с его работы, семье своей он не оставил почти ничего, и жена не могла же брать на себя содержание мужниных родных. После смерти дяди они переехали в маленькую квартирку... Мы тоже переменили квартиру. Зиму провели тихо, – смерть, как всегда, перевернула во мне, в душе, что-то очень серьезно. Я много читала...»

Вот тогда-то, во время чтения одного из журналов – петербургского «Живописного обозрения» – в ее жизнь впервые входит имя Дмитрия Мережковского. А следующим летом, в 1888-м, они встречаются, все в том же Боржоми. Набирающий известность поэт оказывается там случайно. После выхода своей первой книги стихов он путешествует, по Военно-Грузинской дороге приезжает в Закавказье, и кто-то советует ему побывать на этом курорте. А там – встреча с Зинаидой, током пробежавшее между обоими ощущение духовной, интеллектуальной близости. И вот – признание Гиппиус: «...У меня была минута испуга, я хотела эти свиданья прекратить, и пусть он лучше уезжает. Что мне с ним делать? Он – умнее меня. Я это знаю, и все время буду знать, и помнить, и терпеть... Не было ни «предложения», ни «объяснения»: мы, и главное, оба – вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся, и что это будет хорошо... С этой поры мы уже постоянно встречались в парке утром, вдвоем... Никакого «объявления» о нашей будущей свадьбе не было, но как-то это, должно быть, зналось». В начале осени они уезжают в Тифлис, и решают, что Мережковский отправится в Петербург – известить родителей и нанять квартиру. А пока они в разлуке – еще одно совпадение с судьбой Гумилева. Как и тот, Зинаида именно в грузинской столице увидела свои первые опубликованные стихи. Он – в местной газете «Тифлисский листок», она – в петербургском журнале «Северный вестник».

Гиппиусы тогда живут уже на левом берегу Куры, на Воронцовской площади. Туда-то к ним, в один из домиков, на месте которых сейчас – огромное здание, известное тбилисцам как Дом моды, и приходит Мережковский, приехавший через пару месяцев после расставания. А 8 января 1889 года он появляется, чтобы отправиться на венчание. Идти ему было недолго – из гостиницы «Лондон» на другом берегу реки, ее здание и сейчас стоит напротив Александровского сада. Жених с невестой были единомышленны: «всякие «свадьбы» и «пиры» – противны... надо сделать все попроще, днем, без всяких белых платьев и вуалей». Поэтому оделись они, как на прогулку: Зинаида – в темно-стальном костюме и такой же маленькой шляпе на розовой подкладке, Дмитрий – в сюртуке и модной тогда «николаевской» шинели с пелериной и бобровым воротником. Мать по дороге твердит Зине: «Ты родилась восьмого, в день Михаила Архангела, с первым ударом соборного колокола в Михайловском соборе. Вот теперь и венчаться идешь восьмого, и в церковь Михаила Архангела». А от себя мы можем добавить: венчаться Мережковский пришел по Михайловскому мосту (ныне, официально, Саарбрюккенскому, по-народному – Воронцовскому), а церковь – в «тылах» Михайловской больницы, что на Михайловской проспекте. Ну, никуда не уйти в тот день от Святого Михаила!

Путь в эту маленькую церковь тоже недолог, она – на Великокняжеской набережной, сегодняшней улице Узнадзе. Отреставрирована в 1995-м, стоит и поныне. В ней все происходит быстро и не особенно торжественно. Жених, снявший шинель, в которой нельзя венчаться, признавался, что даже не успел почувствовать холод. Не было певчих, даже шаферы не очень серьезные – кузен-гимназист Вася и его товарищ. «...Знаменитое «жена да боится своего мужа» прошло совершенно незаметно. Постороннего народа почти не было, зато были яркие и длинные солнечные лучи верхних окон – на всю церковь», – вот, главное, что запомнилось Зиночке. По возвращении домой свидетели уходят, мать и тетушки разбавляют обычный завтрак шампанским, а молодожены до обеда читают начатую вчера книгу. Дмитрий довольно рано отправляется к себе в гостиницу. А Зинаида ложится спать и очень удивляется на следующее утро, когда мать ее будит: «Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!» Да, по признанию самой Гиппиус, «не похоже было это венчанье на толстовское, которое он описал в «Анне Карениной» – свадьба Китти!»...

Что ж, во все времена интеллектуалы из рядов передовой молодежи изумляли окружающих особыми, неординарными взглядами на сложившиеся традиции и святыни. Но главное, согласитесь, не в форме, а в содержании. После этой тифлисской свадьбы Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич не разлучались ни на один день в течение 52-х лет! А когда, в 1941-м, в Париже, Мережковский уходит из жизни, его жена признается: «Я умерла, осталось умереть только телу». Те, кто был рядом с ней, вспоминают, что на нее было страшно смотреть, она, словно окаменела. Прожить оставшиеся ей четыре года помогли воспоминания – она стала писать книгу «Дмитрий Мережковский». Прекрасно понимая, что и ее век истекает, а самого дорогого человека можно воскресить лишь в слове. На то, чтобы закончить весь труд, времени так и не хватило. Но страницы, посвященные тифлисской жизни, написаны. Они стали уникальным свидетельством далекой романтической эпохи, тех отношений, которые в нашем прагматичном XXI веке могут показаться смешными.

И все же, проходя в Сололаки мимо дома с Оттеповской аптекой, вспомним строфы Владимира Эльснера:

Мое окно глядит на небеса.
По ребрам крыш, мотая галуны,
В него врываются рога луны;
А днем галдящих галок голоса.

На подоконнике с моим гербом:
(О том, конечно, лира и амур) –
Отатуированный том Рембо
И жирный лист желанных корректур.

А, прогуливаясь по улице Бесики-Давидовской, представим себе 75-летнюю женщину, «рыжую бестию Серебряного века», так описывающую свой давний приезд в Тифлис: «Вот этот приезд и решил нашу судьбу – мою в особенности».

Эти строки напоят нас о двух свадьбах, связанных со старым тбилисским районом и русской поэзией.

СТРАНИЦА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Чем измеряется ценность человеческой жизни? Количественно добрых дел? Научными открытиями или поэтическими строками? Единством семьи, в которой растут дети? Поступками, которыми ты можешь гордиться?.. Говорят, что каждый должен посадить дерево, написать книгу и вырастить ребенка. Адвокату и журналисту Ивану Феликсовичу Тхоржевскому, страницу которого мы сегодня открываем, все это удалось. Да, еще как! За

те 30 лет, что он прожил в столице Грузии, круто изменив свою жизнь и став тифлисцем в 1879 году, он смог сделать немало. Он первым перевел на русский выдающихся грузинских поэтов и первым – русских поэтов на грузинский. Не говоря уже о полном издании песен Беранже и стихотворений Гюго, где добрая половина переводов тоже принадлежит ему. А еще у Тхоржевских было пять сыновей и пять дочерей. Да и должность юриста скучать не давала. Казалось бы, чего же более? Так нет, он еще берется за издание журнала! И если в 1881 году мы заглянем в дом Харазова, что у истоков Сололаки, на Эриванской площади, то увидим, как вдохновенно создается этот самый журнал – «Гусли», обличительный, с рискованными статьями и рисунками...

Конечно, Иван Феликсович никогда не справился бы со всем этим один. Уж, извините меня дорогие читатели за такое утверждение, но речь идет не только о детях. Жена – замечательная женщина Александра Александровна, урожденная Пальм, больше трех десятилетий была рядом с ним во всех делах. Кроме, конечно, юридической практики. Он – уроженец Севастополя, она училась в Петербургской консерватории по классу фортепиано, встретились и поженились они в Ростове-на-Дону. А через пять лет приехали в Тифлис, связав с ним свою дальнейшую судьбу, дав в нем жизнь всем своим детям. И именно здесь Иван и Александра... простите, Иван-да-Марья вместе первыми переводили грузинские и французские строфы, сегодня ставшие классикой. Да, таков был псевдоним этого поэтического дуэта – название цветка. Оно стоит и под сборником «Грузинские поэты в образцах», изданного в Тифлисе в 1889 году, и под переводами из французской поэзии, увидевшими свет позже.

Раскроем этот сборник и прочтем хотя бы одно стихотворение. Например, вот это, которое стало самым переводимым на русский язык поэтическим произведением не только с грузинского, но и вообще со всех существующих языков. Это – «Мерани» Николоза Бараташвили. Благодаря Тхоржевскому оно впервые прозвучало на русском через 42 года после того, как было написано в 1842-м. Кто только не переводил его в XX веке! А вот в позапрошлом столетии перевод звучал так:

Летит мой конь вперед, дорог не разбирая,
А черный ворон вслед зловещий крик свой шлет.
Лети, мой конь, лети, усталости не зная,
И по ветру развей печальной думы гнет.

И вот что интересно: этот перевод и сегодня – один из лучших! Даже премудрые современные литературоведы признают: он «довольно точно передает общий смысл и образный строй оригинала» и «был наиболее адекватен грузинскому подлиннику, поскольку переводчик предпринимал лишь первую попытку встроить в русский стих нечто грузинское».

Но вспомним, что кроме русского, «салонным» языком тогдашнего Тифлиса был и французский, так что Тхоржевские, вполне естественно, обращаются и к нему. Проходит четыре года, и под редакцией Ивана Феликсовича издается «Полное собрание песен Беранже в переводе русских писателей». И свыше половины (!) стихов переведены им с супругой. Еще три года – и появляется «Собрание стихотворений Виктора Гюго в переводе русских писателей». Редактор – все тот же Тхоржевский. А сами Иван-да-Марья перевели ни больше ни меньше 141 стих, остальное – работы лучших переводчиков, причем некоторые публикуются впервые. И еще о ценности творчества этой уникальной пары для наших времен: в том сборнике Гюго – множество стихотворений, которые не переводились на русский язык ни до, ни после Тхоржевских.

И еще о том, что не может не удивить. Вся эта гигантская работа, которую сегодня позволяют себе лишь профессиональные литераторы, требующие еще и особых условий для творчества, делалась Иваном Феликсовичем в... свободное от основной – юридической – деятельности время. А о том, каким адвокатом был г-н Тхоржевский,

можно судить по такому примеру. В 1880-е годы он выигрывает в суде дело князя Амилахвари, и тот расплачивается... большим участком земли из своих владений, возле села Самтависи. Ничего себе гонорар, не правда ли? Там-то адвокат-поэт и строит просторный дом, куда с наступлением летней жары из Тифлиса приезжает вся большая семья, заводит виноградник и фруктовый сад. А вдоль дороги, спускавшейся к речке Лехура и знаменитой церкви XI века, высаживает грецкие орехи. Эти разросшиеся деревья шумят листвою и поныне...

Но, уж, если мы удивляемся тому, что Иван Тхоржевский успевал успешно совмещать столько дел, то о его супруге и говорить нечего. Даже, если бы женщина, родившая десять детей (сегодня и подумать страшно!) занималась только домом, ее уже можно считать героиней. А тут еще стихи (причем не в «светский» альбом), переводы (отнюдь не в стол), тщательная редакция весьма объемных изданий... По-моему, объяснить это можно не только любовью к мужу, но и еще парой причин. Во-первых, в жилах Александры Александровны текла кровь деятельно-творческих людей – драматурга и актрисы, а во-вторых, она воспитывалась на примере общего семейного дела – театра. И точно также дело мужа стало ее делом. Тут нам самое время присмотреться к семейству Пальм. И не только потому, что оно подарило Ивану Тхоржевскому столь замечательную подругу жизни. Эта семья тоже имеет самое непосредственное отношение к культурной жизни Тифлиса конца XIX века.

Ее глава, Александр Пальм в 27 лет пережил такое, что не пожелаешь и врагу. Поручик лейб-гвардии егерского полка в 1849-м арестовывается по делу петрашевцев – противников самодержавия, собиравшихся в Санкт-Петербурге у титулярного советника Михаила Бутаевича-Петрашевского. Суд над этими вольнодумцами вошел в историю русской литературы. Ни в одном политическом процессе российской истории не участвовало столько литераторов. На «пятницах» у Петрашевского можно увидеть Федора Достоевского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Алексея Плещеева, Аполлона и Валериана Майковых... Конечно, не все они предстают перед судьями генерал-аудиториата. А вот Пальм вместе с Достоевским и еще двадцатью двумя петрашевцами приговаривается к расстрелу и переживает «десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти». Осужденным, просидевшим восемь месяцев в одиночках Петропавловской крепости, наказание смягчают, но объявляют им об этом лишь после того, как выводят на плац и имитируют казнь...

Так что ясно, почему Достоевский считал Пальма своим приятелем. Более того, отправляясь на сибирскую каторгу, Федор Михайлович обнимает Александра Ивановича и весело объявляет ему, что они еще увидятся. Пальм отправляется в противоположную сторону – он переведен, все с тем же чином поручика, из гвардии в армию. Участвует в военных операциях на Кавказе, после Крымской войны выходит в отставку с эполетами майора. И не очень долго задержавшись на «казенной службе», окунается в литературу, оставшись в ней под псевдонимом «С.Альминский». Так подписаны весьма популярные в свое время четыре романа, несколько повестей, да еще около десяти пьес. И с Тифлисом его связал именно театр.

Драматург Пальм женат на известной провинциальной драматической актрисе Ксении Мальм. Так что, их дети просто не могли не связать себя с театром. И старший сын Сергей, начав с водеvilейных ролей, создает антрепризу, которая в 1877-м, уже став успешной, приезжает в Тифлис. Это весьма примечательная труппа, она состоит практически из одной семьи... Сам петрашвец играет главную роль в собственной комедии «Старый барин», его жена – всех *grande-dame* (немолодых знатных женщин), антрепренер-сын и режиссирует, и блистает на первых комических ролях. Причем, в Тифлисе он так поднатерел в этом, что остается в истории российской оперетты как родоначальник амплуа комика-буфф. Его брат Григорий – герой-любовник комедий и оперетт, жена Григория – певица. Сестра матери семейства играет молодых дам и барышень, а ее муж Иосиф Труффи блистает не на сцене, а в качестве капельмейстера.

Что, впрочем, не удивительно – он скрипач Тифлисского оперного театра, впоследствии станет там дирижером и будет опекать никому не известного молодого певца Федю Шаляпина....

Сегодня такое, конечно же, назовут «семейным бизнесом», а тогда употребляли слово «товарищество». И тут стоит послушать знающего человека – публициста, князя Георгия Туманова: «Товарищество Пальма имело головокружительный успех и успех довольно продолжительный... Прочность ему придавал однородный состав его.... Это семейное начало не вредило сценическому успеху спектаклей. Общая польза товарищества требовала также привлечение свежих сил со стороны. По временам появлялись в труппе выдающиеся провинциальные артисты...» Справедливости ради, к этому надо добавить, что в труппе Пальма появлялись не только способные провинциалы. Легендарный тифлисский промышленник-меценат Исая Питоев, говоря по-нынешнему, спонсор больших театральных начинаний, уговаривает Сергея Пальма пригласить и оперных артистов.

Антреприза арендует единственное помещение, пригодное для постановок после того, как, за четыре года до ее приезда, на Эриванской площади, в здании караван-сарая Тамамшева, сгорел роскошный оперный театр, которым так гордился город. Так что, представления даются в старом Казенном театре в Инженерном саду, на перекрестке Инженерной улицы и Водовозного переулка. Сейчас это место застроено. И прямо на него смотрят с набережной те, кто ищут пищу духовную в рядах художников перед Сухим мостом, и те, кто вкусил пищу в ресторане «Дзвели сахли» («Старый дом»). Им уже не увидеть неказистое на вид, но имеющее большой красивый зал, наполовину деревянное летнее здание...

Несмотря на то, что оно плохо отапливалось, происходившие в нем действия имели огромный успех у почтенной публики. Слово еще одном тифлисецу, выдающемуся военному деятелю Алексею Брусилову. «В то время в Тифлисе был очень недурной театр, было много концертов и всякой музыки, общество отличалось своим блестящим составом, - вспоминает он конец 1870-х, когда был молодым офицером. - Больше всего нас привлекала оперетка, во главе которой стоял Сергей Александрович Пальм (сын известного беллетриста 70-х годов Александра Ивановича Пальма); в состав труппы входили артисты Арбенин, Колосова, Яблочкина, Кольцова, Волынская и много других талантливых певцов и певиц. Даже такие великие артисты, как О. А. Правдин, начинали свою артистическую карьеру в этой оперетке»... Что ж, оперетта – опереттой, но не надо забывать, что в 1878—1881 годах Пальм был еще и антрепренером итальянской оперной труппы в Тифлисе.

Мне кажется, что можно понять, почему Тхоржевские именно к этому времени перебрались в столицу Грузии – она уже была очень хорошо «обжита» ближайшими родственниками Александры Александровны. И, в связи с этим, вернемся с театральной страницы на литературную. Ведь то же самое кооперативное, семейное начало положено и в основу еженедельного художественно-юмористического журнала с карикатурами «Гусли». Редактором становится Иван Тхоржевский, его правая рука, конечно же, супруга. Тесть драматург Пальм пишет фельетоны и рассказы. А потом на страницах «Гуслей» проходят «дебюты» стихов Алексея Плещеева. Того самого, которого мы видели в рядах петрашевцев. Легко представить, с какой радостью встречает петрашвец Пальм то, что присылает его товарищ по мятежной молодости. Сначала появляется стихотворение «Ты жаждал правды, жаждал света...», посвященное двадцатой годовщине смерти Николая Добролюбова. Затем знаменитый грузинский публицист Нико Николадзе просит поэта прислать еще что-нибудь для этого журнала – яркое доказательство того, как относилась к «Гуслям» местная прогрессивная интеллигенция. И Плещеев присылает в Тифлис уже вовсе крамольное «Без надежд и ожиданий...»

Почему это стихотворение было искромсано цензорами и заставило власти косо поглядывать на «Гусли», мы поймем, прочитав хотя бы его начало: «Без надежд и

ожиданий/ Мы встречаем Новый год./ Знаем мы: людских страданий, / Жгучих слез он не уймет;/ И не лучше будет житься/Людам с честною душой...» А тут еще в огонь цензуры подбросил дров врач, один из основателей научной стоматологии в России Михаил Чемоданов. Тифлиские публикации этого человека, прежде в Петербурге иллюстрировавшего лекции Николая Склифосовского и медицинские учебники не имеют ничего общего с медициной. Свой дар рисовальщика он отдал политическим карикатурам, уже хорошо известным в обеих российских столицах. В Тифлисе из-за его злых карикатур даже на самого государя-императора уже был закрыт журнал «Фаланга», а затем та же участь постигла и «Гусли», продержавшиеся с 6 декабря 1881 года по 3 июля 1882-го.

Но Тхоржевский, уже заразившийся журналистикой, не сдается. И в начале 1890-х мы уже можем видеть его в Сололаки, в доме №2 по Сергиевской (ныне – Мачабели) улице, в редакторском кабинете. Он выпускает «Аргонавт» - сначала еженедельный иллюстрированный журнал с ежедневной газетой и приложением, а затем только газету. Однако и это издание просуществовало недолго...

А время летит, и дети постепенно разлетаются из семейного гнезда... Нам трудно будет уследить за всеми, но двум сыновьям «Ивана-да-Марьи» на этой странице – самое место. Итак, старший из них, унаследовавший имя отца, Иван Иванович. Оканчивает с отличием Тифлискую гимназию и Петербургский университет. Его оставляют на юридическом факультете для подготовки к профессорскому званию, но научной работе он предпочитает практическую. И потом никогда не жалеет об этом. Еще бы, ведь он стал одним из ближайших сотрудников великих реформаторов – земляка-тифлисца Сергея Витте и Петра Столыпина. Он занял пост управляющего канцелярией Министерства землеустройства и земледелия, был удостоен придворного звания старшего ранга «камергер». А литературный талант, с генами перешедший от родителей, использует не только на блестящие поэтические переводы. Камергер набирает материал для книги, которая будет издана уже после того, как он станет эмигрантом первой волны в Париже. Это «Последний Петербург», пятнадцать очерков об эпохе заката Российской империи. Настоящая, большая литература, насыщенная выразительными характеристиками ситуаций и образными портретами «верхушки».

За год до революции он уходит в отставку, отречение царя переносит тяжело, к Временному правительству относится скептически, большевиков ненавидит. И поэтому борется с ними и в Петербурге, и в Финляндии, а потом и в Крыму, куда он возвращается из Парижа, чтобы стать управляющим делами врангелевского Совета министров. На одном из последних пароходов он окончательно отправляется в эмиграцию, и в Париже его литературный дар в полной мере предстает миру. Тхоржевский работает в газете «Возрождение» вместе с Вячеславом Ходасевичем и Ниной Берберовой, а главное, пишет стихи и очень много переводит с французского и английского. Литература, которая на родине была для него чем-то вроде хобби, становится источником существования. А главное, чем прославился человек, как и отец, ставший юристом-поэтом – переводы Омара Хайяма. И вот, что удивительно: именно этой работой белоэмигранта пользовались советские издательства, и у всех на слуху – рубаи в переводе Тхоржевского.

А еще он написал пронзительные строки, которые читали миллионы людей, приписывая их и Бунину, и Гумилеву, и Анненскому, и Хафизу, и Хайяму. Лишь в конце прошлого века было доказано, что их автор – тифлисец Тхоржевский. Прочтите их, и у вас тоже захватит дух:

Легкой жизни я просил у Бога:

Посмотри, как мрачно все кругом.

Бог ответил: подожди немного,

Ты еще попросишь о другом.

Вот уже кончается дорога,

С каждым годом тоньше жизни нить...

Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.

Создатель этого стихотворения и в страшном сне не мог предположить, насколько оно касается судьбы его младшего брата Сергея. Тот тоже уехал из родной Грузии учиться в Петербург, но стал историком. А, уж, людям этой профессии есть, с чем сравнивать происходящее вокруг... И член партии кадетов Сергей Иванович уже в советское время выдал следующее в чудом существовавшем «Вестнике партии Народной Свободы»: «Каковы люди – таков и общественный строй; русский социализм есть социализм рабства, нищеты и невежества. Это вполне реальная угроза, которой надо смотреть прямо в глаза». Эмигрировать он не хочет, живет преподаванием истории, а в научных исследованиях, чтобы понять историческую закономерность гражданской войны, обращается к временам Пугачева и Разина. И, в конце концов, в 1930-м попадает под первую волну арестов историков, далеких от марксизма. На первом же допросе Тхоржевский сообщает, что он не является сторонником диктатуры пролетариата и «критиковал отношение советской власти к интеллигенции и отсутствие свободы печати». В итоге – больше года в тюрьме во время следствия и 10 лет лагерей.

А лагеря – те самые, печально знаменитые, на Соловках и на строительстве ББК (Беломорско-Балтийского канала). Освобождается он досрочно, но в Ленинграде ему делать нечего – он уже изгнан из научных рядов и заклеен как «классовый враг на историческом фронте». И Сергей Иванович уезжает от греха подальше, работает экономистом в столице байкало-амурских лагерей, городе Свободном (более издевательского названия нельзя было подобрать). И о чем же мечтает он, вдали от всего, что ему дорого? «У меня сейчас есть одна мечта: когда-нибудь побывать на Кавказе, в родных, знакомых местах, посидеть на горе, где когда-то мы любовались игрой красок на небе при закате солнца, посмотреть вниз на речку, прямоугольники разноцветных полей (желтой пшеницы, зеленой кукурузы), чередующихся с садами — и вдыхать при этом запах скошенного сена... Это сохранится и при социализме (ведь не везде будет пахнуть бензином и нефтью!); это даст силы жить и тогда, когда других удовольствий в жизни не будет».

Вернуться в Ленинград он решается лишь в ноябре 1940-го. На вокзале его встречает 13-летний сын, тоже Сергей, который сам через три года «загребит» на 6 лет в лагерь Воркуты. И они едут домой на извозчике, навстречу отсутствию работы и тщетным надеждам на публикации. А потом – война, блокада и страшная смерть Сергея-старшего от истощения в январе 1942 года. «Легкой смерти надо бы просить»... И еще строки – спустя годы посвященные ему сыном: «Снегом и сумраком укутанные крыши,/ медленная смерть в тяжелой тишине.../ Вечная благодарность тебе, остывшему,/ за искры жизни, оставленные мне». Ничего не скажешь, умели в семье Тхоржевских писать стихи...

В 1974 году Сергей-младший, уже ставший известным писателем, приезжает с семьей на родину отца, отмечавшего в анкетах: «говорю по-грузински». Встречается с помнящими Сергея Ивановича людьми, ходит по Тбилиси, приезжает в Самтависи, там ему показывают, где стоял дедовский дом. И там ему вспоминаются письма из семейного архива, связавшие это место с революцией 1905 года. В одном речь идет о том, как обнищавшие за зиму крестьяне умоляли взять их на работу «хоть и дешевле, но только пока; когда придет бунт, работать не будем, так решено». Кем и когда решено они не знали... Иван Феликсович велел «нанять их как можно больше». А Шура, одна из пяти дочерей юриста-поэта, писала тогда: «У них, промеж себя, идет разговор и об отнятии садов у «господ». Думаю, все же, что в этой местности бояться нечего... Наш папа удивительно справляется со всякими вопросами, без гнева и лишнего пыла, с умом и юмором». А вот вторая половина «Ивана-да-Марьи» сообщает, как ее муж съездил в Самтависи: «Вид 4000 крестьян, с красным флагом ходящих по шоссе и уводящих всех с работ, мог сильно занять воображение. Они зашли и в наш сад и ... кланялись и говорили:

мы против вас ничего не имеем, но рабочих должны увести – у всех уводим. Но двух, служащих помесечно, оставили».

«Удивительное ощущение охватило меня, когда я стоял на месте исчезнувшего дома на высоком склоне холма и смотрел на зеленые кроны ореховых деревьев, на виноградники и старинную церковь вдали, - признавался Сергей Сергеевич. - Я проникся ощущением, что жизнь моего деда продолжается не только в его потомстве, но и в этих ореховых деревьях и во всем самтависском пейзаже, словно его душа и впрямь жива и витает где-то здесь...»

Ну, что ж, может, так оно и есть. Но некоторое ощущение досады все же не исчезает. Ведь Тхоржевские и Пальмы успели так много сделать в Тифлисе для развития театра и литературы, а подробностей об их жизни в этом городе сохранилось не так уж много. Ну, как тут не вспомнить строки Хайяма в переводе камергера Сергея Ивановича:

«Не станет нас!» А Миру хоть бы что.

«Исчезнет след!» А Миру хоть бы что.

Нас не было, а он сиял, и будет!

Исчезнем – мы. А Миру хоть бы что!

Ничего не поделаешь, время стирает многое. Но нам-то с вами, дорогие читатели, не «хоть бы что». Иначе бы мы не перелистывали эти страницы старого Тифлиса.

СТРАНИЦА ДВАДЦАТАЯ

Прежде, чем мы снова ступим на сололакские мостовые, - пара слов об идеализме. О том самом, всеобъемлющем, грезящем всеобщей свободой и справедливостью. Желаящем принести счастье всему человечеству и зачастую приносящем немало горя отдельному человеку. «Никогда ничего не идеализируй – это может плохо кончиться», - предупреждал Оскар Уайльд. Вот и получается, что нынешняя страница, пожалуй, самая трагичная из всех, перелистанных нами. На ней – нереализованные светлые идеалы, смертельная болезнь, терроризм, созревший в молодых, горячих головах, а самое страшное – кровь. Но не заглянуть сюда нельзя. Потому что все это связано с судьбами сына и дочери двух «окраин» огромной империи, судьбами людей, объединивших культуры Грузии, Украины и России – Леси Украинки и Шио Читадзе.

Впервые Грузия предстает перед Ларисой Косач (таковой значилась в официальных документах будущая гордость украинской поэзии) заочно – после того, как в киевской квартире ее семьи, в середине 1890-х, стал снимать комнату Нестор Гамбарашвили. Молодого грузина исключили из Московского университета за участие в запрещенном собрании студентов, и он поступает в Киевский. А в семье хозяев квартиры сразу же завоевывает всеобщие симпатии, став своим человеком. Общее впечатление о нем, как о своеобразной «визитной карточке» Грузии, выражает младшая сестра поэтессы Исидора: «О веселом нраве Нестора и говорить не приходится: остроумный, ласковый и к тому же рыцарского поведения, воспитанный на лучших национальных традициях. Мы... очень полюбили его».

А больше всех к студенту-вольнодумцу тянется Леся. У нее уже вышел сборник стихов, как и полагается просвещенной девушке того времени, она много думает о судьбах простого народа, ненавидит облеченных властью поработителей и угнетателей. И все это несмотря на страшную болезнь – туберкулез костей. Общих интересов у молодых людей немало. Они много говорят на темы, что называется общественные, она помогает ему учить французский, приносит крамольные сочинения Герцена, Добролюбова, Чернышевского, Степняка-Кравчинского. Он знакомит ее с грузинским языком, дает прочесть ру斯塔велиевского «Витязя в тигровой шкуре» на русском. Леся приходит в восторг и засыпает его «вопросами о Грузии, ее природе, давней культуре, поэтах, писателях, художниках, театрах».

Конечно же, не обходится и без обмена подарками. На томике Альфреда де Мюссе, подаренном, чтобы Гамбарашвили не забыл об их «лингвистической академии», надпись по-французски: «Учителю, ученику и товарищу на память о нашем товариществе взаимной помощи – от Ларисы Косач». А еще дарится фотография, на обороте которой значится: «Желаю Вам, господин Нестор, послужить преданно и беззаветно вашей прекрасной родной стране. Когда будете нуждаться в товарищеской помощи и совете, - вспомните, что есть на свете Лариса Косач. Киев, 6. V, 1896 г.». Естественно, молодой человек интересуется, что Леся хотела бы получить в подарок из Грузии. Ответ: «Острый кинжал, как эмблему борьбы с ненавистным врагом». И на первый же заработок от уроков Нестор заказывает в Тифлисе лучшим дагестанским мастерам небольшой кинжал, отделанный серебром и гравировкой. Подарок вручается с не менее торжественным пожеланием: «Будьте крепки в вашей благородной работе, как сталь этого кинжала. Пусть ваше слово будет острым, как этот клинок».

«Эге, да тут нечто большее, чем просто дружба», - может сказать читатель. И окажется прав – Нестор Гамбарашвили стал первой большой влюбленностью Леси Украинки. Но романтические отношения развития не получают. Через пару лет после знакомства Нестор съезжает с квартиры, женится на другой. И хотя Леся вслух реагирует лишь ироничным: «Попался, как жучка, в панскую ручку!», для нее это – настоящая драма. Настолько, что мать даже прятала от нее подаренный кинжал. Впрочем, зря она делала это. Леся до самой смерти хранила подарок и долго переписывалась с грузином, в которого впервые влюбилась. Что было в этих письмах, мы уже не узнаем – они исчезли в лихолетье гражданской войны. А спустя десятилетия появились свидетели того, как в 1958 году старший научный сотрудник Управления заповедников при Совмине Грузинской ССР Нестор Гамбарашвили приехал в Киев с дочкой и плакал на могиле Леси...

Но не одним лишь неудачным романом ознаменовано в жизни поэтессы появление молодого грузина. Именно у него собирались студенты из грузинского землячества. И помимо того, что на этих встречах Леся полюбила грузинские песнопения и заинтересовалась языком, на котором они звучат, именно там она знакомится с Шио Читадзе. Этот студент историко-филологического факультета Киевского университета полон замечательных идей о том, как надо реформировать школьное обучение. Через год после знакомства с Лесей он оканчивает учебу и сам начинает преподавать в киевских гимназиях. Пытается на украинской земле реализовать свою мысль о том, что «школа – мастерская, где душа человека должна получить форму и содержание». Он активно работает в «Киевском обществе грамотности», ведет курсы усовершенствования учителей начальных школ. И затем с семилетним опытом работы и молодой женой-киевлянкой Устиньей Щербань отправляется на родину, чтобы именно там применить на практике свои прогрессивные теории.

Лесю продолжает терзать болезнь, которой девушка отнюдь не собирается сдаваться. Она несколько раз лечится за границей, издает еще два сборника, разъезжает с поэтическими чтениями. И не отрекаясь от политических убеждений, переводит на украинский, готовя к изданию работы не кого-нибудь, а Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В первую очередь, «Манифест коммунистической партии». А вот в личной жизни – опять неудача, причем, трагическая. От туберкулеза умирает ее возлюбленный, белорусский журналист, поэт (и, конечно, революционер) Сергей Мержинский. У самой Леси болезнь тоже обостряется, оставаться в Киеве зимой нельзя, а тут – письма из Грузии. Ее добрый друг-земляк Климент Квитка работает в Тифлисе помощником секретаря окружного суда, приглашает приехать. И в 1903-м Украинка впервые отправляется в Грузию, в страну, которую обожает заочно. С Читадзе она встретилась уже в тот самый первый короткий приезд, когда, лишь перезимовала в южном городе, а потом вернулась в Украину. Есть свидетельства, что именно Шио познакомил ее тогда с «музыкантом-этнографом Палиевым», то есть с великим грузинским композитором Захарием Палиашвили. А вот следующее появление Леси в Тифлисе еще теснее связывает ее с Читадзе.

С октября 1904 года Леся живет в Тифлисе более полутора лет. Живет в квартире, которую Квитка снял на границе двух старинных районов – Сололаки и Мтацминда. И вот что интересно. Несмотря на то, что в Украину оттуда ушло немало писем с обратным адресом: «Давыдовская улица, дом Гамрекели», вплоть до конца прошлого века не удавалось точно установить, где именно жила поэтесса. Выросли новые строения, крутые улочки переименовывались, номера домов менялись. И лишь благодаря усилиям доктора искусствоведения Надежды Шалуташвили удалось точно определить нынешний адрес. При этом тбилисцы еще раз доказали, что они в любом деле остаются тбилисцами. Окрестные жители рьяно подключились к поискам и общими стараниями дом был определен: номер четыре на нынешней улице Василия Мосидзе. Сегодня окна квартиры, в которой жила классик украинской поэзии, выходят прямо на памятник классику грузинской литературы Сулхан-Саба Орбелиани.

Именно из этой квартиры Украинка пишет сестре: «Хата у меня прекрасная, в красивой и здоровой части города, и вообще я чувствую себя как дома». А вот – и доказательства этого самочувствия: она много и плодотворно работает, здесь пишутся драматические поэмы «Одержимая», «Вавилонский плен», «На руинах», «Осенняя сказка», «В катакомбах». И, вдобавок ко всему, отсюда буквально несколько минут ходьбы в Сололаки, к приятелю по Киеву Шио Читадзе. Он уже воплощает в жизнь свои идеи: школьное обучение надо строить в зависимости от возраста и уровня развития детей, стимулировать интерес к учебе. А для этого педагог должен иметь прочную научную и психологическую подготовку. Еще одна из главнейших задач, о которых можно прочесть в работах Читадзе, – обучать детей на родном языке и одновременно глубоко изучать русский. Впервые организовав съезд учителей Грузии в разгар революционных событий 1905 года, он высказывается за реформу общеобразовательной школы «на принципах свободного воспитания» и реально проводит ее.

Поле деятельности для этого – преотличнейшее: большое учебное заведение на стыке улиц Лабораторной (ныне – Ингороква) и Ермоловской, носящей сейчас имя самого Шио Читадзе. Сегодня в публикациях биографии выдающего педагога и общественного деятеля этому учебному заведению даются различные названия. Вплоть до классической гимназии №1, которая по сей день находится совсем в другом месте, на проспекте Руставели, бывшем Головинском. Что ж, понять эти неточности можно: время делает свое дело. Однако, если мы заглянем в пожелтевшие листы «Кавказского календаря» за 1905-1906 годы, то сможем извинить авторов современных справочников и энциклопедий. Даже в изданиях, вышедших в свет при жизни Читадзе, название «Тифлисская дворянская школа» чередуется с «Тифлисской дворянской частной гимназией». Главное же в том, что это учебное заведение – частное, и Читадзе может работать без оглядок на многие официальные циркуляры. Он инспектор (заведующий) этой школы, к тому же преподает в ней русский язык и эстетику.

Леся Украинка часто приходит в школу, где учатся по новой, читадзевской системе – квартира ее друга в том же здании. «Была у Читадзе, где нас принимали изысканно и приятно»... «Только что была госпожа Читадзе, я к ней захожу частенько», – сообщает она матери в Киев. Помимо приятного общения есть еще одна польза – украинская гостья знакомится здесь с прогрессивной грузинской интеллигенцией. Отсюда хозяин квартиры ведет ее в детский журнал «Накадули», специально для которого она обещает редактору, писательнице Нино Накашидзе сочинить стихи. Увы, из-за болезни это обещание не было выполнено.

Ну, а разговоры в квартире на Ермоловской отнюдь не только о литературе. Ведь на дворе – 1905 год, стрельба, кровь, казаки и жандармы разгоняют, преследуют, убивают. В беседах Читадзе подчеркивает, что основная масса пролетариев – за марксистов-искровцев, «в их руках будущее». Он задумывается, каким будет завтра, потому что убежден: совершить революцию еще недостаточно, не менее важно прививать людям новую мораль, новые этические нормы. И, в первую очередь, это касается литераторов и

педагогов: в школе, по его словам, непочатый край работы – она оторвана от реальных проблем. Сам он – не большой сторонник насилия в борьбе за народное счастье, а вот Украинка – наоборот. От гостей Читадзе она немало наслушалась о том, что происходит в рабочих районах города, и поэтому забывает «спокойные» темы, считая бунтарские более актуальными.

Она даже переписывает в Тифлисе уже готовую «Осеннюю сказку», создавая новые психологические портреты поработителей и невольников. Она уверена, что «все окончится настоящей весной». А еще тяжело больная, но стремящаяся к борьбе женщина отрицает тишь и спокойствие в быту, видя в них мещанское благополучие. По ней – уж, лучше, ад:

В ад угодить, быть может, интересно...
 Я все же знаю, что зовется адом.
 Попасть же в рай (надежда ль есть такая?) -
 Там нет печали, горя, - нет и счастья,
 И нет любви, сердечного участия –
 Такого рая я не понимаю.

Мало того, в ее стихах – настоящие революционные призывы. «В Тифлисе был ... один такой «весенний» день, когда лужи человеческой крови стояли на тротуарах до вечера. Не до спокойных тем при таких обстоятельствах», - пишет она в Киев. И рождается такое:

Новую песню слагайте, друзья.
 Так, чтоб она засияла лучами,
 Так, чтобы ясное красное знамя,
 Следом за нею взлетев в небеса,
 Реяло гордо, творя чудеса!

Этот настрой в стихотворениях можно понять, прочитав, что она пишет в прозе – матери. Давайте, прочтем хотя бы один – с восторгом написанный – отрывок из письма. Он стоит этого, хотя бы потому, что далеко не все мы знаем о событиях февраля 1905-го, которые там описываются: «Здесь были волнения во всех средних школах, в том числе и в женских, в институте «благородных девиц» и... в епархиальном училище! В мужских гимназиях устраивали сходки, били окна, добились отставки нескольких учителей и одного директора. В грузинской же дворянской школе (где Читадзе) выработали новый устав с правом сходов в присутствии учителей и с ученическим советом, который имеет право делать свои заявления в педагогический совет. Сие было добыто без битья окон и других бесчинств, благодаря такту директора ... В женском институте были волнения из-за перевода одной ученицы из старшего класса в младший, чтобы освободить вакансию для дочери начальника края. А учитель, который протестовал, вынужден был уйти в отставку. Девицы вступились за подругу и учителя, выбили окна в знак протеста, а начальницу, пришедшую их успокоить, забросали туфлями, избили и выгнали вон. Она подала в отставку, а институт пока что закрыт... Вот какие дела!»

А за стенами учебных заведений – настоящие бои, город охвачен мятежами и стачками. Леся признается, что оставаться в Тифлисе ей «все неприятнее с принципиальной стороны». И в начале июня 1905 года уезжает на родину. Но в том же году участвует в манифестации петербургских рабочих на Невском проспекте, а из Киева пишет одной из подруг: «Теперь такое время, что не раз и сын против отца должен восстать, хоть это так тяжело для обоих». Ох, уж, этот радикальный идеализм на бумаге! К каким рекам крови он приводит в реальности... Поэтесса, теоретически оправдывающая неминуемые жестокости революционных событий, и предположить не могла, что именно они унесут

жизни близких ей людей. В том самом году, когда она призывала сыновей восставать против отцов.

Раскроем утренний выпуск петербургских «Биржевых новостей» за 1906 год: «ТИФЛИС, 5-го июля. В момент бросания бомбы в полицмейстера (Мартынова) из здания грузинской дворянской гимназии, там происходил педагогический совет учительского персонала. После залпов, сделанных казаками, помещение гимназии было обыскано. Убит наповал инспектор гимназии Читадзе, избит тяжело учитель Пиоти, три учителя арестованы». На следующий день – дополнение в «Русском слове»: «ТИФЛИС, 6, VII. Инспектор дворянской гимназии убит в своей квартире; у него произведен полный разгром. Разгромлено также остальное помещение гимназии. Здоровье арестованных учителей Глonti и Абуладзе внушает серьезные опасения. Действительные виновники взрыва не задержаны». А это – из романа Отара Чиладзе «Железный театр»: «Ученики первой тбилисской мужской гимназии бросили бомбу в полицмейстера, ехавшего в своем экипаже. Директор гимназии Шио Читадзе не успел даже толком разобраться, что происходит, что за шум в гимназии, как ворвался в его кабинет казак и разнес ему череп пущенной в упор пулей. Жена Шио Читадзе, узнав о случившемся, приняла яд – так ей стало страшно остаться одной, без мужа в этом озверелом мире; она даже не подумала о том, что сама покидает на произвол судьбы двух малолетних детей». Мы с вами уже знаем, что эти события происходили совсем не «в первой тбилисской мужской гимназии», но менее ужасными они от этого не становятся.

И вот, что поразило меня, когда я впервые читал все это. Почему пострадал именно Читадзе, «повинный» лишь в свободном воспитании молодежи? Да еще пострадал в своей квартире, а не в помещениях, из которых могли бросить бомбу? Зачем казаку понадобилось стрелять в безоружного человека, вовсе не похожего на террориста? Часть ответов на эти вопросы была получена, когда удалось разыскать малоизвестный широкой публике документ. Познакомьтесь с его автором – Николай Бигаев, офицер конвоя главноначальствующего на Кавказе и командующего войсками Кавказского военного округа (так именовался тогда кавказский наместник). В его воспоминаниях – события, в которых он сам участвовал.

Итак, в тифлисского полицмейстера подполковника Петра Мартынова бросают бомбу «из окна второго этажа грузинской дворянской школы со стороны Лабораторной улицы». Полицмейстер тяжело ранен, сопровождающие его казаки оцепляют здание, а Бигаев появляется на месте событий через пять минут – помещение конвоя было совсем рядом, примерно, на месте нынешнего сквера за зданием парламента. Генерал-губернатор Тифлисского района пребывает в растерянности, и Бигаев с несколькими казаками, выломав запертую дверь, входят в гимназию. Там их самих чуть не подстреливают снаружи те, кто увидел неясные тени в стеклянной галерее. В комнате, из которой брошена бомба, на полу – еще одна, «вполне готовая к метанию, цилиндрическая», рядом – графин воды и куски хлеба. Казалось бы, все ясно: террористы скрылись и нельзя определить, были ли они учащимися или просто использовали помещение. Но вслед за Бигаевым в здание уже врываются жаждущие мщения казаки, полицейские, жандармы, и начинается «погром гимназии, особенно квартиры инспектора, находившейся в верхнем этаже и выходившей на другую, институтскую улицу». В этой квартире проходило заседание педсовета, а стражи порядка «начали рыскать по всем комнатам, ища злодеев-бомбистов». Теперь предоставим слово самому Бигаеву: «Один из казаков конвоя, с ружьем на изготовку, открыл дверь в квартиру инспектора школы г-на Читадзе. В этот момент последний, стоявший, очевидно, у самой двери, инстинктивно схватил рукой за дуло винтовки... Раздался выстрел и Читадзе упал мертвым, получив рану в голову. Прочие учителя бросились прятаться, кто под тахты, кто в подвал и т. д. Одного из них полицейские нашли и с криком и шумом выволокли в коридор и здесь стали его избивать. На крики избиваемого прибежал и я. Увидев зверскую расправу, я прикрикнул на толпу, схватив казака за руку, направившую острый кинжал в живот жертвы... Меня сдавил в

своих объятиях огромного роста человек, весь в крови, умоляя спасти его, невинного преподавателя грузинской школы... Он указал мне, что его товарищи тоже находятся в школьном помещении... Я побежал спасать других учителей. Войдя в квартиру инспектора, я наткнулся на труп Читадзе... В следующей комнате на мой зов из-под тахты вылез человек и бросился на колени, умоляя пощадить его - отца девяти душ детей...»

Страшно представить, что все это – не страницы исторического романа, а подлинные события... Но, увы, трагедия в тифлисской гимназии – лишь одно из многих доказательств того, как из-за террора, проводимого одними людьми, страдают другие, совершенно невинные. Во все времена власть, достойная того, чтобы в нее бросали бомбы, в отместку не разделяет граждан на правых и виноватых. Вспомните, и здесь «действительные виновники взрыва не задержаны»....

Неизвестно, когда Леся Украинка узнала о гибели своих друзей – Шио Читадзе и его жены. Но, несомненно, это известие добавило немало горя в ее и без того нелегкую жизнь. Вообще, за те два с лишним года, которые прошли до ее окончательного переезда в Грузию, она успевает немало: активно занимается общественной деятельностью, организует библиотеки и различные кружки, пытается издавать газету. И даже вместе с сестрой проводит ночь в полицейской каталажке – после обыска в качестве «неблагонадежной». В это время в ее жизни открывается и счастливая пора тифлисской жизни: в 1907-м – бракосочетание с Климентом Квиткой, их окончательно сблизило пребывание в грузинской столице. Но, к сожалению, над всем этим довлеет болезнь Леси – не отступающая, безжалостная, мучительная...

В 1908 году Грузия принимает украинскую поэтессу с мужем уже на пять лет, до самого конца ее жизни. Основными городами жизни Леси становятся Телави, Кутаиси, Хони – места работы супруга. А в поселке Сурами она провела свои последние дни. Конечно же, об этих годах ее жизни можно сказать очень многое, тем более что, современники отмечали: «Она очень полюбила грузин, говорила, что грузинская нация близка украинцам». Но у нас – тифлисская страница. И, в связи с этим, заглянем в декабре 1908-го на Дворцовую площадь. Именно там, в гостинице «Северные номера», останавливалась Украинка, в последний раз проезжая через Тифлис. Гостиница стояла рядом с Национальным музеем Грузии, тогда – Кавказским музеем. И, если бы сохранилось это здание, в котором потом был ломбард, то на нем обязательно была бы еще одна мемориальная доска, посвященная Лесе.

А в завершение этой страницы – о горькой иронии судьбы, которая по-своему интерпретирует людские идеалы. В здании школы, где жил, работал и был убит педагог-гуманист Шио Читадзе, многие годы располагался... «карающий меч революции» Закавказская и Грузинская ЧК, затем ОГПУ. А когда, в 1930-е годы, для чекистов выстроили новое здание НКВД-МГБ-КГБ, оно разместилось на улице... пламенной мечтательницы Леси Украинки.

СТРАНИЦА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

После того, как мы стали регулярно заглядывать на сололакские улицы, пора бы уже не удивляться, нити скольких (и каких!) родословных протянулись с них, связав Россию и Грузию. Ан, нет, очередное хитросплетение судеб изумляет, объединив людей, отдаленных во времени, пространстве, по роду занятий. Для Тифлиса все это – не помеха. Вот, например, заглянем в книгу отнюдь не литературную, а метрическую – сололакской Спасо-Вознесенской церкви. Речь в ней идет о человеке замечательном, но далеком от художественного творчества. Однако именно отсюда запросто можно попасть на страницу литературную, да еще посвященную Александру Островскому. Точнее – тому, как классик русской драматургии, 190-летие со дня рождения которого отмечалось в апреле, побывал в столице Грузии.

Итак, запись, сделанная в старинной церкви на сололакском склоне, извещает: 20 июля 1880 года на свет появился мальчик, родители которого неизвестны. Его взял на

воспитание Александр Бахметьев, а восприемниками, то есть крестными, стали сам этот инженер и «дочь статского советника А.Шателена девица Ольга». Спустя 12 лет Тифлисский окружной суд подтвердил усыновление мальчика Бахметьевым, еще через 6 лет Борис, закончив с золотой медалью 1-ю Тифлисскую гимназию, а затем петербургский Институт путей сообщения, отправился в большую жизнь. И вошел в историю как выдающийся ученый в области гидродинамики, политический и общественный деятель. Он был товарищем (заместителем) министра во Временном правительстве, послом России в США, где и остался после Октябрьского переворота. Там он взял на себя заботу о российских эмигрантах, в том числе – о таких выдающихся людях, как изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, крупнейший астрофизик XX века Отто Струве, авиастроитель Игорь Сикорский, отец современной механики сплошных сред Степан Тимошенко... Он активно участвовал в подготовке документов для Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, его имя носят в Штатах гуманитарный фонд и архив российской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета.... Все это интересно, - вправе сказать читатель, - но при чем здесь Александр Островский? А все дело в том, что брат девицы Ольги Шателен женится на дочери знаменитого драматурга, а господин Бахметьев – брат жены Островского. И именно у него тот останавливался, когда приезжал в Тифлис. Скорее всего, в Сололаки – живя в другом районе, Бахметьев пошел бы в другую церковь. Вот и получается, что без тифлисцев, ставших родственниками Островского, знаменитый ученый не состоялся бы... А теперь нам пора перейти от этих людей к самому прославленному драматургу, который в 1883-м приехал в Грузию, как говорится, для улучшения душевного состояния.

В том году российский император Александр III жалует 60-летнему драматургу солидную пенсию – 3 000 рублей в год. Как председателю «Общества драматических писателей» Островскому разрешают создать в Москве новый, фактически его собственный театр. А это – заветная мечта Александра Николаевича. Она должна была воплотиться в красивое здание напротив Большого театра, с новейшими механизмами для сцены, тщательно подобранной труппой, огромным залом и дешевыми билетами. Но такую мечту 3 000 рублей не хватит, и полный надежд драматург начинает искать богатых меценатов. Но пока он добивается встреч с промышленниками и купцами, пока завтракает с ними и оговаривает условия, радужная мечта рушится в одночасье. «Сверху» появляется разрешение создавать частные театры любому, по всей стране. И когда в одной только в Москве довольно быстро стали строиться сразу два таких театра, стало ясно: привилегия, дарованная Островскому, уже ничего не стоит. Это большой удар: исчезло чувство независимости, снова надо было писать для чужих театров по пьесе к каждому сезону и зависеть от чиновников всех рангов.

И именно в эту, не самую лучшую пору жизни многие друзья советуют ему отправиться в Грузию. Что ж, совет, вполне естественный для российской литературной жизни любой эпохи: вспомним, сколько больших писателей и поэтов стремились с берегов Невы и Яузы на берега Куры, Арагви и Риони, чтобы найти духовное прибежище! А тут как раз брат Михаил собирается в служебную поездку в Закавказье, и Островский пишет ему: «Сделай милость, возьми меня с собой на Кавказ: в Тифлисе меня давно ждут, там есть люди, которые мне покажут все интересное за Кавказом». Ответ не заставляет ждать: «Довезти тебя до Тифлиса могу с полнейшим для нас обоих удобством... И по Кавказу... можем ездить вместе без всякого затруднения: я намерен его весь изъездить... Я убежден, что эта поездка принесет громадную пользу твоему здоровью». Ну, а поскольку брат занимает не просто высокую должность, а пост министра государственных имуществ, можно не сомневаться, что эта месячная поездка и впрямь проходит в «полнейшем для обоих удобстве».

А теперь – слово русскому композитору, дирижеру, педагогу, общественному деятелю Михаилу Ипполитову-Иванову, за год до визита Островского приехавшему в Тифлис, и в течение 11 лет руководившему основанным им отделением «Русского музыкального

общества», дирижировавшему оперным оркестром и преподававшему в музыкальном училище. Он сообщает: «К событиям этого времени следует отнести и посещение Тифлиса А.Н. Островским, нашим знаменитым драматургом, женатым на сестре моего друга А.Бахметева, проживавшего в то время в Тифлисе. У него Островский остановился, и у него-то я с ним познакомился». Вопреки расхожему мнению, Александр Николаевич в первые дни пребывания в грузинской столице вовсе не окунался в местную театральную жизнь. Он чувствовал себя неважно и старался попросту отвлечься от московских неудач, поближе познакомиться с городом и его обитателями. То есть, жил обычной жизнью туриста, оказавшегося в незнакомом, но очень интересном месте. В этом, как и в том, что Тифлис пошел на пользу его здоровью, мы можем убедиться, пролистав его дневник:

«3 октября. Понедельник... Со станции прямо к А. В. (Архипову – уполномоченному на Кавказе Министерства государственных имуществ – В.Г.) весь разбитый. Тифлис производит впечатление полувосточного, полуазиатского города. Лег рано, ночью страдал, насморк и кашель. Спал мало. С 4 часов до 6 читал.

4. Вторник. Встал в 7 часов разбитый. Был у М.Н. (брата – В.Г.), который остановился со своей свитой в «Лондоне». Там встретился с главноначальствующим на Кавказе, князем Дундуковым-Корсаковым (Дондуковым – В.Г.), он встретил меня очень ласково и сейчас же пригласил обедать, я отказался по болезни...Обедал дома, у нас обедали чиновники М.Н. ... Ночь провел гораздо лучше.

5. Середа. Встал в 8 часов. Чувствую себя лучше, хотя одолел насморк, тем, должно быть, и выразилось мое нездоровье. Приехал ко мне смотритель музея немец Радде... Был в музее... Вечером отдыхал. Лег рано.

6. Четверг. Встал в 6 часов. В Тифлисе с самого нашего приезда холодно. Ни в одном доме нет двойных рам, к окнам подойти нельзя, так дует, но не сыро. Сегодня разгуливается, к 12 часам показалось солнце... Осматривал город: ездил на Веру, наверху горы духан, хороший вид на Тифлис, переехал Куру и был в Муштаиде, таким образом осмотрел всю западную часть Тифлиса. К обеду пришел Адольф Петрович Берже, знаток Кавказа и его истории; проговорил с ним весь вечер.

7. Пятница. Встал в 6 часов. Съездил к брату, видел офицера с прошением. Тип кавказского проходимца. До вечера дома. К 10 часам на железную дорогу. Тепло, как в августе. Вид на Тифлис».

Полубовавшись этим видом и чувствуя себя намного лучше, чем до приезда, Островский на неделю отправляется в Баку. Сразу по возвращении – продолжение знакомств с Тифлисом, «осматривал город, был на Майдане и в армянских лавках». На следующий день – признание: «Чувствую себя хорошо. Гулял по Головинскому проспекту...» Самочувствие настолько хорошее, что из любознательного туриста Александр Николаевич уже может превратиться в профессионального консультанта – он помогает Ипполитову-Иванову писать новую сцену для либретто его оперы «Руфь». В своем дневнике он немногословен: «17. Понедельник. Был у брата, вечером был у нас Иванов – персидские, грузинские, мингрельские и другие песни». Еще одна краткая запись о встрече с композитором – за день до отъезда из Грузии: «Был Иванов с женой, привез ноты грузинских песен». А вот Ипполитов-Иванов вспоминает эти встречи намного подробнее. И нам эти воспоминания интересны тем, что они – свидетельство интереса Островского к грузинской культуре:

«Беседы наши касались больше всего вопросов искусства. Его очень интересовало положение грузинского театра, заря которого в то время только что загоралась... Он просил меня познакомить его с моими записями грузинских народных песен и частью церковного обихода, к переложению которого на ноты я только что приступил. Вслушиваясь в эти напевы, он, в связи с общим впечатлением от поездки по Кавказу и Грузии, высказывал свое удивление и восхищение культурой и изяществом грузинского художественного творчества как в литературе, так и в искусстве».

Но только этими беседами интерес Александра Николаевича к Грузии не ограничивается – поездку к князю Багратион-Мухранскому «в Мухрань (в Карталинию, Душетского уезда)» он использует и для того, чтобы познакомиться с местным бытом и традициями. В дневнике – не только восхитившая его природа, но и люди, работающие в садах, и подробное описание того, как изготавливается вино. А еще, читая этот дневник, можно обратить внимание на то, что нехарактерно для сегодняшних застолий с непривычными к обилию вина приезжими. Грузинское гостеприимство никак не пострадало в глазах гостя от того, что за роскошно накрытым столом, на котором был даже пудинг, облитый пылающим виноградным спиртом, было выпито всего четыре тоста. Три из них хозяин, представитель грузинской царской семьи, «старый николаевский генерал (73 л.), совершенно бодрый (на вид не более 55 л.)» поднял за каждого из братьев Островских и за всех гостей, а Михаил Островский провозгласил тост за здоровье хозяина – Ивана Константиновича Багратиона-Мухранского.

Еще одна поездка для знакомства с Грузией – в Батуми, всего лишь за 5 лет до этого отвоеванный у Османской империи. В дневнике – красочные описания «величественной, дикой, адской красоты» шторма, впечатления от города европейская часть которого «еще строится», перечень покупок (турецкий табак, портсигар, коробочка для колец), резкая характеристика «небольшой труппы французов», игравшей две одноактные пьесы: «Артисты имеют все недостатки, присущие французам, и очень мало достоинств». И очень большое внимание среди батумских встреч уделено «флигель-адъютанту, капитану 1 ранга, с Георгием, еще молодому человеку, белокурому, рослому, с добрыми, приятными глазами». Островский познакомился с ним еще в поезде, жил в одной гостинице, и моряк рассказывал ему «много интересного, как он атаковал с моря Батум, как пускал мины под турецкие броненосцы и прочее». Пройдет немного лет и этот батумский знакомый драматурга – Степан Макаров, герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в которой он впервые в мире успешно применил торпедное оружие, станет известен во всех странах. Как знаменитый адмирал, океанограф и полярный исследователь, кораблестроитель и автор русской семафорной азбуки. Еще одна примечательная нить судьбы из хитросплетений, связывающих Грузию с Россией...

Между тем, дорогие читатели, вполне можно понять, почему Островский так уничижительно отозвался о французской труппе в Батуми. Ему было с чем сравнивать, за день до отъезда в Аджарию он заявил: «Я и прежде слышал, что у грузин есть хорошая труппа, а сегодня сам убедился, что вы действительно хорошо играете. Мое удивление тем более велико, что вы так прекрасно разыграли пьесу, составленную не из ваших нравов. От души вас благодарю за честь и хорошую игру». Слова эти сказаны после спектакля в тифлисском театре Арцруни, стоявшем на том самом месте, где сейчас Грибоедовский театр и редакция журнала, который вы держите в руках. Именно там грузинская драматическая труппа организовала вечер в честь Островского. Впрочем, предоставим самому Александру Николаевичу возможность рассказать об этом. Цитата не такая уж маленькая, но она стоит того – никакие пересказы или выдержки из тогдашних газетных рецензий не заменят живого впечатления драматурга:

«Вечером в театре Арцруни грузины давали для меня спектакль. Вход в караван-сарай был иллюминирован; против входа, в караван-сарай, был поставлен убранный зеленью и цветами транспарант с моим вензелем... У входа на улице, на лестнице и по галереям караван-сарая стояла несметная толпа народу. Когда я вошел, галереи... караван-сарая, по которым надо было проходить до театра, осветились бенгальскими огнями, и грузинский оркестр заиграл что-то вроде марша. Для меня была приготовлена средняя ложа, она была убрана зеленью, которая гирляндами опускалась донизу. При моем входе в ложу поднялся занавес, вся грузинская труппа в национальных костюмах была на сцене. Режиссер труппы прочел мне приветственный адрес, очень тепло и умно написанный, а грузинский поэт Цагарели прочитал свое стихотворение на грузинском языке, затем под аккомпанемент оркестра труппа запела по-грузински многолетие, вся публика встала и

обратилась к моей ложе – многолетие, по требованию, было повторено. Я, разумеется, раскланивался и благодарил публику и артистов... Вначале шел 2-й акт «Доходного места» на грузинском языке. Роли Фелисаты Герасимовны, Полины и Юсова были исполнены очень хорошо. По окончании опять овации и рукоплескания, так что я устал раскланиваться. В антракте представители труппы принесли в ложу прочитанный адрес и лавровый венок от грузинских артистов. Потом шли две небольшие пьесы, из которых одна чисто бытовая, из грузинской крестьянской жизни; изображалось что-то вроде сговора или рукобיתья с грузинской музыкой, песнями, плясками и со всеми обрядами. Очень интересное представление. В заключение, вместо дивертисмента, грузин и грузинка, в богатых костюмах, проплясали лезгинку. При выходе моем из театра были те же овации, что и при входе».

К этому можно добавить еще несколько моментов. «Две небольшие пьесы» - это впервые поставленный на грузинском языке водевиль классика армянской литературы, тифлисеца Габриэла Сундукяна и первое действие комедии Авксентия Цагарели «Иные нынче времена». Приветственный адрес читал выдающийся грузинский актер Васо Абашидзе, в тексте – такие слова: «Ваше великое имя является гордостью Грузии так же, как и гордостью России. Мы счастливы, что на нашу долю выпало быть духовным посредником союза этих двух народов, между которыми существует взаимная любовь и сочувствие друг к другу». А сам Островский сказал актрисам Марии Сапаровой-Абашидзе и Нато Габуния: «Пока вы живы, моя Полина не умрет». И вообще, он долго беседовал с артистами – призывал их создать труппу на постоянной основе. Об этом же, о необходимости правительственной поддержки грузинского театра он всерьез говорил и главноначальствующему на Кавказе Александру Дондукову-Корсакову. Но, как водится во многих «верхах» и по сей день полезная рекомендация осталась лишь благим пожеланием.

Знаменательным этот вечер оказался еще и потому, что Александр Николаевич вновь встретился на нем с человеком, которого называют «армянским Островским» - тем самым Сундукяном, чей водевиль шел после «Доходного места». Они познакомились еще до этого, за обедом в доме Бахметьева, а в театре, во время перерыва, Габриэл Мкртычевич «побежал наверх, чтобы позжать его дорогую руку, что и исполнил, встретив его в коридоре». Братья Островские пригласили Сундукяна в свою ложу, где они вместе и завершили вечер. А перед отъездом московского драматурга Сундукян, уже по договоренности, приходит к нему и передает роскошные издания четырех своих пьес на армянском и грузинском. Посвящение гласит: «Александру Николаевичу Островскому, в знак глубокого уважения от автора». Но все это – в подарок, а вот вариант одной из этих пьес – «Пэпо», рукописный, в собственном переводе на русский, передается уже для работы. Островский заинтересовался пьесой и взял ее в Москву, пообещав «посмотреть, исправить, если нужно, язык и поставить ее там на сцене». Увы, сделать это он не успел. А Сундукян до конца жизни называл Островского в числе тех драматургов, которые «неразлучны с ним».

Еще один спектакль в честь московского гостя, уже на русском языке, дает после его возвращения из Батуми любительский «Артистический кружок», основанный знаменитым тифлисским меценатом Исаем Питоевым. В здании нынешней Академии художеств на Грибоедовской улице представлена комедия «Не в свои сани не садись». Еще раз заглянем в дневник драматурга: «Дом в персидском вкусе, богатая отделка... Игра любительская. Были более чем удовлетворительны Дуня – Акинфиева и Бородкин – Бакулин (товарищ прокурора). Ужин с тостами, с пением многолетия (по-грузински)». А в ответном слове Александр Николаевич доказывает, что краткость – сестра таланта: «Я от души благодарю вас за искреннее сочувствие к моей литературной деятельности, но вы преувеличиваете мои заслуги. На высокой горе над Тифлисом красуется великая могила Грибоедова, и так же высоко над всеми нами парит его гений. Не мы, писатели новейшего времени, а он внес живую струю жизненной правды в русскую драматическую литературу».

Словом, приему, который Островскому оказал Тифлис, можно позавидовать. И это не только льстило самолюбию пожилого человека, которого чуть не подкосили московские огорчения. Приезд в Грузию доказал, насколько его знают и любят далеко от Москвы, он признавался, что поездка произвела на него прекрасное, освежающее своей новизной впечатление. Более того, она сказалась и на его творчестве. Через год после расставания с Грузией он признается, что пьеса «Без вины виноватые» написана «после поездки на Кавказ, под впечатлением восторженного приема, какой оказывала мне тифлисская публика». Он даже решает пойти еще дальше – написать текст для оперы на кавказскую тему. Но тоже не успевает.

Ну, а Тифлис может гордиться, тем, что сумел в последнюю для классика поездку в иные края сделать для него то же, что и для всех русских литераторов, приезжавших на берега Куры. Сумел приютить и поддержать в трудную минуту, очаровать, передать свою жизненную силу, вдохновить на новые сочинения.

И как жаль, что новая встреча с Тифлисом, о которой так мечтал Александр Николаевич, так и не состоялась. Кто знает, может, после нее в жизни Островского еще что-нибудь изменилось бы к лучшему?

СТРАНИЦА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Он, наконец, добирается до этого города – города своей мечты! И в 1933-м оказывается в Тбилиси, о котором знает наизусть множество деталей. Запахи и цвета которого мысленно пытался уловить, проводя по его извилистым улочкам персонажей своих книг. И все это – с... берегов Невы. Блестящий ученый, писатель, историк Юрий Тынянов умеет существовать одновременно в разных временах, и в этом они с Тбилиси прекрасно друг друга понимают. Теперь уже он сам идет по следам своих героев-легенд – Грибоедова, Кюхельбекера, Пушкина и смотрит их глазами на город, одаривший его друзьями-легендами. Живет он в доме №7 на улице Дзнеладзе (ныне – Табукашвили) у знаменитого юриста Луарсаба Андроникашвили. Работать он спешит на улицу Мачабели, в Союз писателей, где его ждет в нетерпении поэт Тициан Табидзе. А по вечерам – гостеприимная квартира звезд кино, актрисы Нато Вачнадзе и режиссера Николая Шенгелая на столь хорошо нам знакомой Коджорской улице. Соединим на карте города эти точки и получим треугольник основного тыняновского, так сказать, ареала обитания. В который вписывается проспект Руставели, и две вершины которого (улицы Мачабели и Коджорская), опять-таки – в Сололаки.

Но разве тбилисская жизнь может вписаться в геометрическую фигуру? Это все равно, что попытаться мечту втиснуть в сухую схему! А исполнившаяся мечта оказывается для Тынянова точь-в-точь такой, какой много лет виделась издавна. Город и впрямь завораживает, оказывается теплым, несмотря на октябрь, заполненным удивительными людьми. Уже написаны Тыняновым «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара», уже задуманы им примечания к пушкинскому «Путешествию в Арзрум». И так естественно теперь взойти по мтацминдским переулкам на Святую гору – к другу Александру, постоять у его грота. И восхититься Ниной: «Молодец! Замуж второй раз не вышла, осталась ему верна. А Наталья переменяла фамилию Пушкина – на Ланская. Испытания не выдержала...» Но тут же, в оправдание: «Пушкин наказал ей носить траур по нем два года, а потом идти за другого. Она вдовствовала семь... Одна. Дети – Машка, Сашка... Младшие: Григорий и Наталья... Ей было трудно...» А потом подняться уже на Сололакский хребет и оттуда читать раскинувшемуся внизу городу стихи другого Александра – «На холмах Грузии...» Да, Грузию и ее столицу Тынянов полюбил заочно, работая над романами о пребывании там гигантов русской поэзии. А потом еще – и встречи в Ленинграде с людьми, ставшими для него главными притягательными магнитами по приезде в Тбилиси. Давайте-ка, откроем самые первые страницы их знакомства. Вот, в 1925-м Тынянов принимает вступительный экзамен в Ленинградский университет у юного выпускника тбилисской школы Ираклия, и первый его вопрос: «Вы учились в Тифлисе? Вот как! Не приходилось

ли вам путешествовать по Военно-Грузинской дороге?» В ответ – рассказ юноши о том, как он проехал всю эту дорогу со школьной экскурсией, а обратно, из Владикавказа, прошел пешком. Следующий вопрос: «Скажите, похоже ли описан у Пушкина монастырь на Казбеке? Я еще не бывал в Грузии. Ваш рассказ очень для меня важен». И экзаменуемый взахлеб рассказывает про Казбек, про ледники и про то место над Крестовым перевалом, откуда Пушкин мог одновременно видеть и Арагви, и Терек. Так продолжается полчаса. А вечером Тынянов звонит покровительствовавшему парню литературоведу Борису Эйхенбауму и сообщает, что тбилисец Ираклий Андроников принят в университет. Через несколько месяцев Эйхенбаум приглашает Ираклия и его брата, будущего знаменитого физика Элевтера Андроникашвили: «Юра написал роман «Кюхля». Великолепно. Хотите, почитаем вслух?» Так молодые тбилисцы одними из первых знакомятся с замечательным романом о Вильгельме Кюхельбекере, служившем и в Тифлисе. Причем, знакомятся из уст самого автора.

Проходит несколько лет, и отношения Андроникова с Тыняновым – уже нечто большее, чем простое знакомство. Окончив университет, Ираклий Луарсабович еще не имеет постоянной работы и (конечно же, бесплатно) начинает помогать Юрию Николаевичу «как бы в роли секретаря» - болезнь не позволяла тому зимой выходить из дома. И среди тех, чьи образы уточняются в ходе совместных литературных исследований, - хорошо знакомые нам тифлиские персонажи: Александр и Нина Чавчавадзе, Грибоедов, супруги Ахвердовы... Тогда, по состоянию здоровья, Тынянов не мог проехать по Военно-Грузинской дороге, чтобы побывать в Грузии. И он расспрашивает Андроникова «о расстояниях между почтовыми станциями, о пейзажах, о нравах и о Тифлисе». Ответы выслушивает внимательно, радуется своей проницательности, проявленной в романах: «Я не ошибся!» И, в ответ, рассказывает о том, что узнал из редких документов о Тифлисе 1820-х годов ...

А теперь заглянем в ленинградскую гостиницу «Европейская». Зимой 1930-31 годов здесь останавливаются Тициан Табидзе и Паоло Яшвили, к ним приходят Ираклий Андроников с братом. А еще там живут Борис Пастернак с молодой женой, и Тициан приглашает их в гости. В разговоре вспоминают Тынянова, с которым приезжие еще не знакомы, и Ираклию Луарсабовичу поручают по телефону уговорить писателя приехать в гостиницу. «За поручение я взялся, но в успехе уверен не был, - вспоминает Андроников. - Юрий Николаевич был очень чувствителен к тонкостям обращения. И посредничество мое мог презреть. Но не выполнить просьбу – и чью! Пастернака, Яшвили, Табидзе! Разве я мог! Волнуясь и запинаясь, я позвонил. И вдруг Юрий Николаевич заговорил с радостью, попросил к телефону Бориса Леонидовича, потом Тициана. И согласился. И вскоре пришел...» Придя, он был очарован Паоло и Тицианом, «произносил лестные приговоры» стихам собравшихся, и, конечно же, зашел увлекательный разговор о Грузии, «острыми впечатлениями» о которой делился и Пастернак. Так и знакомятся, ставшие друзьями на всю жизнь, грузинский поэт и русский писатель. «Помню, как потом долго и неотступно вспоминал Тициана Тынянов и Тынянова – Тициан. Словно они нашли друг друга, и это было заранее написано им на роду», - делится Андроников. Так что, дорогие читатели, легко представить, как после всего этого встречаются Тициан и Ираклий дорогого друга Юрия, когда тот, наконец, приезжает в Тбилиси...

Происходит это в октябре 1933-го. Накануне Первого Съезда писателей СССР большая группа русских писателей отправляется в Грузию, чтобы установить с местными литераторами более тесные контакты – и творческие, и деловые. Тынянов приезжает раньше остальных – Бориса Пастернака, Николая Тихонова, Ольги Форш, Валентина Гольцева и Петра Павленко. Уж, очень не терпится ему попасть в заветные места, да еще по той самой(!) Военно-Грузинской дороге. Да и поработать ему надо побольше, чем остальным: он - член редколлегии, а потом и главный редактор серии «Библиотека поэта», в которую намечено включить и грузинские стихи. В Тбилиси же Юрия Николаевича ждет не только Табидзе, но и Андроников, очень кстати приехавший к отцу. Его-то мы и

попросим рассказать об основных моментах того, что можно было бы назвать «трудовыми буднями» и «досугом» приезжего, если бы эти понятия не были неразделимы для Тынянова в таком городе, как Тбилиси.

Итак, о работе: «Тициан не разлучается с ним. Живет, погруженный в XIX столетие в кругу Александра и Нины Чавчавадзе, Григола Орбелиани, Бараташвили, Пушкина, Грибоедова, Кюхельбекера и Полонского... Разговоры о сборнике «Грузинские романтики» для «Библиотеки поэтов» (он вышел потом). О большой антологии грузинской поэзии в ленинградском Детгизе... Тициан ночами трудится над подстрочниками, составляет комментарии, краткие биографии грузинских поэтов. Это большое умение – поведать, показать Грузию, приворожить писателя или поэта, сделать его другом Грузии навсегда, влюбить его в Грузию...» Андроников приводит гостя в архив: «Он оживленно перелистывал еще не разобранные, никем не читанные прошения Кюхельбекера, резолюции генерала Ермолова. Был горд находками. Выписывал пространные цитаты, пояснял документы окружавшим его архивным работникам. Меня просто поразила тогда точность, с какой он угадывал, где могли оказаться интересные для него бумаги... И всех, кто его окружал, покорял деликатностью, мягкостью, скромностью». Еще Тынянов открывает для себя поэзию Александра Чавчавадзе: «Нужно перевести его стихи... И Николоза Бараташвили. И Орбелиани Григола. По всему видно, что поэты европейского класса. Тициан Юстинович Табидзе читал мне подстрочники...»

А это – уже о прогулках по городу, которые оказались отнюдь не просто досугом: «Заходили в погребки. Стояли выше Цициановского подъема. Потом спустились в Чугуретский овраг. Застроенный в ту пору халупами на разных уровнях, он был великолепен своей живописностью. И много раз потом, в Ленинграде, Тынянов вспоминал Чугурети и гордился им как открытием. Ходили в серную баню, чтобы соотнести впечатление с той страницей «Путешествия в Арзрум», на которой безносый Гассан моет Пушкина». Словом, «Тынянов совершал путешествие по следам Грибоедова и по страницам своих романов, запоминая подробности для следующего издания книги». Вдобавок к этому, вовсе не застолья становятся главными в домах Тициана и новых друзей – Нато Вачнадзе и Николая Шенгелая, поэтов Георгия Леонидзе и Валериана Гаприндашвили, писателя Серго Клдиашвили... «Почти каждый вечер в честь Юрия Николаевича собирались то у того, то у другого. Редкое единодушие объединяло всех, ощущение общности творческих задач, чувство истинной дружбы этих замечательных людей и дружбы двух великих культур, которые они представляли, жадное желание как можно больше сообщить Юрию Николаевичу – рассказать ему о Грузии, о ее поэзии, раскрыть, объяснить, увлечь... Уже тогда становилось ясным, что эта дружба продолжится в письмах и в больших литературных делах. Так и стало».

Кстати, если уж, речь зашла о застольях, то надо сказать о моментах, прямо скажем, не очень характерных для гостей Грузии – Тынянов не так уж часто поднимал бокалы. Это отмечает еще один человек, сопровождающий его по Тбилиси – Акакий Гацерелия. Он всего лишь год, как окончил университет, и ему еще только предстоит стать писателем, литературоведом, заслуженным деятелем науки. Но в свои 23 года он уже считается специалистом по истории кавказских войн. И именно его Тициан просит помочь Тынянову в подготовке комментариев к пушкинскому «Путешествию в Арзрум». Еще он консультирует гостя и в подготовке сборника грузинских поэтов-романтиков. Именно он приводит Тынянова в университетское книгохранилище, где тот не только находит неизвестную рукопись одного из сосланных в Грузию декабристов. Его ждет приятный сюрприз: книгохранилищем руководит лектор Юрия Николаевича в Петербургском университете, всемирно известный ученый Григол Церетели. Именно Гацерелия несколько раз приходит с Тыняновым в Музей истории Грузии, где «превосходные пояснения» дают приезжему такие выдающиеся личности, как историк Леван Мухелишвили и литературовед, историк, этнограф Павле Ингорква. И именно

начинающий литератор знакомит Тынянова в столовой Дома писателей с такими гигантами, как поэт Галактион Табидзе и писатель Михаил Джавахишвили.

В этой столовой Гацерелия ежедневно встречается с Тыняновым в четыре часа дня – остальное время, как мы уже знаем, тот проводит с друзьями. К молодому же помощнику он обращается не иначе, как с уважительным «коллега». А тому и несколько часов, ежедневно проводимых вместе, дают основания вспоминать не только о совместной научной работе. Так, он подчеркивает: «Тынянов избегал пить вино. И если пил, то два-три стакана». А когда Гацерелия, как и его старшие товарищи, в очередной раз старается прибегнуть к одному из самых традиционных обрядов гостеприимства, Тынянов смотрит на него с упреком: «Тицианом и вами движет одно намерение: дать мне выпить, чтобы я стал болтливым. Я сейчас заплачу за это: до завтра вы не услышите от меня ни слова!» Тут же добавляет: «Хотя... коллега, я и завтра выпью вашего прекрасного вина» и потом, в полном молчании, доходит до квартиры Андроникова. Вывод Гацерелия: «По существу, Тынянов играл им же выдуманную роль, и играл ее превосходно».

Но никакой игры нет и в помине, когда Юрий Николаевич, в очередной раз, объявляет: «Коллега! Прогуляемся по городу! Что вы предложите посмотреть?» И они отправляются бродить по столь влекущим гостя местам. «Он шел энергично, размахивая тростью, погрузившись в свои мысли, или заговаривал о Тбилиси, который, думаю, наблюдал глазами Кюхельбекера и Пушкина», – вспоминает Гацерелия. Правда, если мы внимательно приглядимся к их прогулкам, то увидим, что одна из них началась совсем не радостно. Только познакомившись и впервые побывав в университетском книгохранилище, оба едут в переполненном трамвае по проспекту Руставели. Да, дорогие читатели, сегодня уж мало, кто помнит, что этот вид транспорта, уже несколько лет, как исчезнувший из Тбилиси, когда-то гордо постукивал по стыкам рельс на его главной улице. Ну, а битком набитый тбилисский трамвай ничуть не отличается от такового в любом другом городе. И Тынянов неожиданно бледнеет, хватается рукой за сердце – у него пропали часы. Казалось бы, естественно сделать то же, что делают тысячи людей в таком положении – поднять панику со всеми скандальными, но редко дающими результат последствиями. Однако Тынянов поступает так, как поступили бы аристократы духа, ставшие героями и его книг, и его судьбы.

«Единственная вещь, которая у меня от матери, – огорченно проговорил он, но тотчас взял себя в руки, – свидетельствует Гацерелия. – Никогда после за все время пребывания в Тбилиси он не обмолвился об этом, столь его огорчившем факте. – Жара... – сказал Юрий Николаевич после минутного молчания. – Мне трудно дышать... Сойдем. Пройдемся пешком... Мы сошли с трамвая. Тынянов шел, словно и не случилось ничего неприятного, и спрашивал о каждом мало-мальски примечательном здании на проспекте Руставели, в то же время вспоминая некоторые интересные места».

Что еще вспоминается его молодому коллеге? Что во время полемики Тынянов не терял самообладания и всегда оставался сдержанным. Что «легко находил общий язык со всеми, в ком замечал искреннюю любовь и уважение к человеку, – с пожилым и молодым». Что многие отмечали его умение быть язвительным, но в Тбилиси все остались «очарованными мягкостью его характера». И что не было ни одной их встречи, на которой Тынянов не заговорил бы о Пушкине: «У меня осталось впечатление, что мысли о гениальном авторе «Медного всадника» не покидали его никогда, владели каждой минутой его жизни».

Конечно же, такой человек не мог не стать своим для Тбилиси. И город одаривает его не только встречами и дружбой с лучшим своими жителями. Проходит не более недели после приезда Юрия Николаевича, а мы уже можем заглянуть в газету «Литература да хеловнеба» («Литература и искусство») от 7 октября 1933 года, чтобы прочесть заметку о нем. Там подчеркивается и то, что «писатель в настоящее время работает над большим романом о Пушкине». Тициан переводит гостю заметку, показывает фотографию в газете, и Тынянов улыбается: «И в русской прессе меня не балуют хорошими портретами. Когда

я рассматриваю их, то кажусь себе почти уродом». Минуют еще три недели, и, кажется, флюиды благожелательности попадают из грузинской прессы в российскую. Слово Акакию Гацерелия: «В бытность Тынянова в Тбилиси в газете «Известия» от 20 октября 1933 года была напечатана большая статья А.Старчакова «Проза Тынянова». Она прозвучала некоторым приятным диссонансом среди ранее опубликованных статей об авторе «Смерти Вазир-Мухтара»... Мне приятно вспоминать, что я лично передал ему газету со статьей о его творчестве. Он быстро прочел ее и ничего не сказал, но хорошее настроение, которое не покидало его весь день, было более чем красноречивым». Что ж, лестно сознавать: этот приятный момент, связанный с не баловавшей его прессой, Тынянов пережил именно в Тбилиси.

Но не только сбором исторических материалов для будущих книг живет Тынянов на берегах Куры. Посмотрим, с каким рвением берется он за ранние русские переводы стихов Николоза Бараташвили. Строфы его не удовлетворяют, он называет некоторые из них «беспомощной и анемичной копией оригинала», считает, что «общепринятая характеристика лирики Бараташвили совершенно не согласовывается с этими переводами». И, по его просьбе, Гацерелия составляет метрические схемы стихотворения «Мерани» специально для Михаила Лозинского, который «смог передать своеобразие ритма текста». С грузинскими друзьями Тынянов беседует о возможности перевода «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели все тем же Лозинским и о том, что «о писателе с такой интересной биографией», как Григол Орбелиани, «можно бы написать целый роман». К сожалению, выполнить эти задумки не удалось, но, все равно, заслуги Тынянова перед грузинской литературой трудно переоценить. Под его редакцией в 1939 году выходит русский перевод «Мудрости вымысла» Сулхана-Саба Орбелиани, а через год – тот самый сборник стихов «Грузинские романтики» в большой серии «Библиотека поэта», материалы к которому он собирал в Тбилиси.

А еще откроем первую страницу «Литературной газеты» от 26 ноября 1937 года. На ней – статья Тынянова «Дата мирового значения», посвященная 750-летию со дня рождения Шота Руставели. Оно названо «великим юбилеем» наравне со 100-летием со дня рождения Пушкина. Многого стоят хотя бы такие слова: «Великий грузинский эпос пронес всю свою силу, молодость и обаяние через века до наших дней. Я не знаю в мировой поэзии более вечных, более молодых женских слов, чем письмо Нестан-Дареджан своему рыцарю, чем плач Ярославны в Путивлеграде на городской стене, чем письмо Татьяны к Онегину!..» Тынянов утверждает, что перед русскими поэтами «стоит почетный и радостный долг полноценного перевода великого грузинского поэта». И выдвигает девиз: «Пусть Нестан-Дареджан станет сестрою Ярославны и Татьяны».

Конечно, литератор такого масштаба, полюбивший Грузию еще до знакомства с ней, сделал бы многое из всего этого, даже не приезжая на берега Куры. Но какое счастье и для Тбилиси, и для Тынянова, что их встреча, о которой писатель мечтал столько лет, все-таки состоялась! Ведь, по словам Ираклия Андроникова, «этот его приезд, несомненно, принадлежал к самым светлым и радостным дням его жизни».

СТРАНИЦА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Мы уже так долго листаем сололакские страницы, где удивительным образом сочетаются стихи и проза, встречи и дружбы, имена прославленные и почти забытые... И кое-кто даже может упрекнуть нас в особом пристрастии к этому району. Но в таком случае тот же упрек можно адресовать и человеку, более полтора столетия назад писавшему здесь свои замечательные статьи и очерки о Грузии – графу Владимиру Соллогубу. Ведь объединил он их под говорящим названием «Салалакские досуги». Правда, в старой транскрипции: Сололаки тогда называли и Салалак, и Салулак. Так что, нет сомнений, где именно Владимир Александрович брался на досуге за перо и бумагу. И писал не конкретно о самом районе, а, как и мы, обо всем, что поразило и запомнилось – о встречах, о людях, о нравах, о литературе, о театре... По словам Николая Добролюбова, в «Салалакских

досугах» Соллогуб «решился из светлой сферы поэзии спуститься в область смиренной прозы и сделался статистиком, этнографом, историком, биографом, туристом, даже критиком и историком литературы...» Ну, а что еще надо тем, кому интересно, чем жил Тифлис в том далеком времени!

Открыв газету «Кавказ» за февраль 1851 года, читаем: «В наш город прибыл известный русский литератор граф Соллогуб, высочайшим повелением назначенный состоять по особым поручениям при его сиятельстве князе наместнике». Тогда тбилисскую публику это привело в восторг, сегодня большинству ее представителей имя графа Соллогуба мало что говорит. А ведь Белинский после гибели Лермонтова ставил его на второе место среди тогдашних писателей – вслед за самим Гоголем. Его знаменитой повестью «Тарантас. Путевые впечатления» зачитывалась вся Россия. И в историю литературы он вошел как предтеча русского классического реалистического романа. А еще он был близко знаком с Карамзиным, Гоголем, Лермонтовым, Одоевским, Тургеневым, Островским, Гончаровым, Достоевским, Григоровичем, Некрасовым, Панаевым. Ну, а Пушкин... вызвал его на дуэль, приревновав к своей Натали. Причем абсолютно безосновательно. К счастью, они объяснились, помирились, но Соллогуб вошел в историю еще и благодаря этому инциденту.

Как же знаменитый литератор, женатый на фрей-лине императрицы Софье Виельгорской, завсегдатай всех великосветских салонов Петербурга, оказался в Тифлисе? Его собственное объяснение таково: «В начале 1850 года я довольно серьезно заболел, и доктора советовали мне ехать за границу пить божественные воды; но меня привлекало другое – меня уже давно тянуло на Кавказ. Мне хотелось взглянуть на этот, по рассказам и описаниям, чудный край... Личность наместника кавказского, князя Михаила Семеновича Воронцова, много способствовала этому желанию...» Вот и получилось, что граф приезжает в Тифлис не только для лечения – наместник приглашает его в качестве чиновника по особым поручениям. Но какие особые поручения мог исполнять известный литератор?

С 1847 года на Эриванской площади города строится караван-сарай с театром на 700 мест. Это первое крупное театральное здание Закавказья. Создают его итальянский архитектор Джованни Скудиери и русский художник Григорий Гагарин, с которым у Соллогуба уже есть отличный опыт совместной работы. А деньги на строительство и оформление театра вызвался выделить известный меценат, почетный гражданин Тифлиса и Ставрополя Гавриил Тамамшев. И пусть современного читателя не коробит, что театр – в здании караван-сарая. Это аналог того, что теперь называется «торгово-развлекательным центром». В контракте прямо указано: «все торговые лавки, расположенные в здании, должны быть заняты красным товаром, галантерейными, модными, кондитерскими и вообще лавками, не безобразящими наружному взгляду». Директором этого театра и назначается Соллогуб. Вот такое особое поручение.

И уже только в одном описании вверенного ему театра проявляется литературный талант графа-директора. Во-первых, он четко оценивает значение новостройки: «Промышленность и искусство зажили рука-об-руку, - и даже промышленностью поддерживается искусство, потому театр выстроен на счет лавок. Правильная торговля и эстетическое наслаждение сливаются в этом храме возникающей образованности, - две важные стихии для усовершенствования здешнего быта, указаны целому населению». А уж описание убранства театра – это восторженная поэма в прозе. Ее полное воспроизведение займет не одну страницу. Поэтому удовлетворимся лишь парой цитат: «Сооруженный в Тифлисе, на Эриванской площади театр не найдет себе нигде равного... Мертвым пером нельзя выразить всей щеголеватости, всей прелести, всей ювелирной отделки нового зала. Он похож на огромный браслет из разных эмалей, сделанный... по восточным рисункам. Равным образом он напоминает те предметы древней русской утвари с разноцветной финифтью, которыми мы восхищаемся в богатом хранилище Московской Оружейной Палаты...» И еще выслушаем пророческие слова о том, что

действительно реализовалось с годами: «Нельзя не пожелать от души, чтобы здешняя драматургия, поняв свое призвание, заняла достойное место в общем стремлении к пользе и чтобы мысль, подарившая Закавказье театром, нашла отголосок в грузинских и русских писателях и пополнилась, осуществилась их произведениями».

Конечно, можно понять такое восхищение театром, который получил под свое начало... Но у графа – много и других интереснейших строк о Тифлисе. Часть их и сегодня может повторить любой человек, изумленный первым приездом в Грузию. «Нигде так упорно и так усердно не закусывают, как здесь»... «Летняя жаркая погода в Тифлисе перестает быть погодой, а становится иногда настоящей язвой... Словом, если какой-нибудь город нуждается в дачах, то это, конечно Тифлис»... «Идет гомерическая попойка под председательством красноносого тулумбаша и безостановочно передаются из-рук-в-руки кулы, азарпеш и турьи рога с многоизвестным и еще более употребляемым кахетинским вином»... А этот отрывок о том, как итальянская опера завоевала Тифлис, просто необходимо прочесть, ведь чувством юмора не обделены ни автор, ни мы с вами:

«Тифлис решительно становится музыкальным городом, еще немного и он даже будет итальянским городом. Куда не повернешься, все слышатся итальянские напевы. Рассказывают, что на майдане все муши то и дело, что поют – *un pescator ignobile*, а затем ложатся спать на улице, в ожидании золотых кафтанов и замаскированных Лукреций. Если кто на базаре покупает бурдюк кахетинского, так уж не иначе, как на голос – *un segreto per esser felice*... Верблюжие караваны становятся каждую ночь в кружок и, при виде восходящего месяца, проводники их затягивают хором: *Casta diva*. Зурна, бедная зурна, спряталась и замолкла. Два сазандаря, видя, что последний их час настал, застрелились, но, умирая, еще через силы нашептывали: *Ah, pershe, non posso odiar ti*... На улице все приветствия, все разговоры изменились. Теперь не спрашивают – здоровы ли вы? спрашивают – есть ли у вас место в Опере. Не говорят, что такой-то господин ожидает следующего чина, а – что такой-то певец немножко охрип, а у такой-то певицы болят ноги... Все бегут в театр. Все алчут оперы».

А вот уже вполне серьезно: «Русская труппа в Тифлисе невелика, но можно и должно сказать, что она из лучших, если не лучшая из всех второстепенных русских групп. В ней господствует какой-то особый тон приличия и благородства... На тифлисской сцене вы не увидите гаерских угождений райку, ухарских ухваток, свирепых нарядов, ничего, что бы резко бросалось в глаза или могло бы оскорбить вкус самого взыскательного слушателя»

Все это увидено и прочувствовано «изнутри» - Соллогуб ощущает себя своим человеком в закавказской столице. И что бы он не писал в ней, вполне естественно появляются слова «у нас», «наш край», «наш быт»... Посторонний человек не напишет: «Кто не знает нашего живописного города, нависшего над Курю, посреди котловины, окаймленной горами, тот не может себе представить волшебной картины этого освещения...» Или это: «Тифлис изменяется с каждым днем: между саклей, отважно торчащих гнездами, над обрывистым берегом Куры мгновенно вырастают красивые здания, сооружаются церкви, перекидываются через бурливую реку каменные мосты, выравниваются площади, возникают целые улицы, целые кварталы; каждый день приносит новый успех, новую мысль, новое развитие, новую радость». Ну, чем не описание нынешних дней? Правда, с одной оговоркой – те здания тифлисы встречали с восторгом, а по поводу нынешних новостроек не стихают бурные споры...

Город «над обрывистым берегом Куры» может гордиться не только тем, что знаменитый писатель по праву зачисляет себя в «летописцы тифлисской жизни и городской и загородной». Именно здесь у Соллогуба появляется возможность сочетать литературную, исследовательскую и общественную деятельность. Он печатает статьи и рецензии в газете «Кавказ», пишет пьесы, детальную биографию генерала Петра Котляревского, начинает «Историю войны в Азиатской Турции», издает сборник «Тридцать четыре альбомных стихотворения». А еще вместе с писателем Евгением Вердеревским готовит к печати альманах «Зурна», призванный поведать российскому читателю о богатстве и

разнообразии культур Закавказья, в нем авторы нескольких национальностей. Сам Соллогуб, помимо стихов, публикует комедию «Ночь перед свадьбой, или Грузия через тысячу лет». Именно Тифлис он избирает для своей утопии, и нам стоит заглянуть в это будущее.

Итак, напившийся на свадьбе жених-тифлисец, просыпается в городе 2853 года. А мы, не дожидаясь этой даты, сравним предсказания Соллогуба с сегодняшним Тбилиси: «Со всех сторон... огромные дворцы, колоннады, статуи, памятники, соборы... железная дорога». Царит всеобщее просвещение, женщины имеют настолько равные права с мужчинами, что служат в полиции. Правда, потому, что это стало самой легкой работой (!). Сословие купцов сохранилось, но заботится только о пользе покупателей, а не о собственном кармане. Техника дошла до того, что механические камердинеры чешут пятки своим хозяевам. Более того, когда один из персонажей – Карапет, отец Кетеваны – глаза с крыши своего дома на улицу, вдруг хочет поспать, он вставляет ключ в отверстие в трубе, и из окна выезжает кровать, которую подталкивает машина на колесах и пружинах. Ей отдаются приказы: «Машина, положи меня; машина, накрой меня; машина, погаси свечу и отвези в комнату». Все это исполняется, и Карапет уезжает со словами: «Ну, а теперь я сам засну». Извозчики перевозят пассажиров на воздушных шарах, и один упрекает другого в том, что тот «намедни ездока в Средиземное вывалил». О театральном мире: «Согласие между артистами, отсутствие мелочного самолюбия для пользы искусства – вот что отличает ваше полезное сословие». Париж уже неинтересен и банален, ведь центр цивилизации и культуры – Закавказье... Не правда ли, дорогие читатели, есть, о чем сегодня задуматься, чему позавидовать, с чем сравнить?

Но литературного творчества Соллогубу мало – он становится одним из учредителей и членом Совета директоров Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Туда входят виднейшие исследователи Кавказа, в разное время членами этого отдела были Илья Чавчавадзе и поэт, драматург, этнограф Рафаил Эристави (Эристов). Первое собрание Совета состоялось за месяц до приезда Соллогуба в Грузию, а уже на втором заседании он поднимает вопрос о создании «Общего Кавказского Музеума». Этнографическую программу музея составляет он сам, а зоологическую и ботаническую – профессор Андрей Бекетов, дед поэта Александра Блока. Первые экспонаты музею передают Соллогуб и Воронцов.

При всем этом, как всякий талантливый и независимый в суждениях человек, да к тому же, покровительствуемый высоким начальством, Соллогуб обретает недругов в «свете». И когда ушедшего в отставку Воронцова сменяет генерал Николай Муравьев, «доброжелатели» представляют ему графа как «салонного баловня» и «колкого балагура». Да и у бравого воина – свои представления о функциях подчиненных. Поэтому его разговор с чиновником по особым поручениям по-солдатски лаконичен: «Вы автор «Тарантаса?» и после получения ответа: «Ну, так можете сесть в ваш та-рантас и уехать». Это не метафора, а прямое руководство к действию. И граф покидает Тифлис в марте 1855-го, месяца не дотянув до четырех лет пребывания в нем.

Но разлука с Грузией – недолгая. Соллогуб служит в Министерстве внутренних дел, особыми обязанностями не обременен, а тут с ним связывается князь Александр Барятинский. Он назначен вместо Муравьева, по состоянию здоровья покомандовавшего Кавказом меньше двух лет. Будущий наместник спрашивает, не желает ли Соллогуб снова вернуться в край, оставивший «неизгладимые впечатления и воспоминания». И рисует заманчивую картину, полностью соответствующую соллогубовским «вкусам и умению: устройство театров в значительных городах, учреждение школ музыки, пения, рисования в Тифлисе». Польщенный граф сравнивает такую перспективу с «маленьким министерством изящных искусств», в котором он исполнит «лестную роль хозяина и господина».

И это – при том, что Соллогуб отлично знает не только положительные стороны характера Барятинского, но и его избалованность, тщеславие, желание стать генералиссимусом

подобно Суворову. «При таком нраве и при таких стремлениях, понятно, что... Барятинский пожелал придать своему путешествию и вступлению в вверенный его управлению край всевозможную торжественность», - признает он. Но, как свидетельствуют современники, именно Соллогуб «был одним из первых, кого завербовал князь в свою пышную свиту, с которой он открыл свое торжественное шествие на Кавказ» летом 1856-го.

Острый на язык писатель сам признается, что въезд в Тифлис с «особенною торжественностью» имел «свою несколько смешную сторону». Но «обрадованный встречей с дорогими друзьями», он был так счастлив, что «не обеспокоивался о... настоящей задаче, т.е. о служ-бе». И тут выясняется, что наместник напрочь позабыл об обещанном «маленьком министерстве изящных искусств»: «Вместо деятельного труда, условленного между мною и Барятинским, оказалось, что мои занятия состояли в устройстве праздников в честь главнокомандующего, импровизации стихов и водевилей. С этим, разумеется, я согласиться не мог». Правда, у высокопоставленного чиновника Корнилия Бороздина – свое мнение, он считает, что Соллогуб мечтал получить «какую-нибудь отдельную часть по управлению в самом Тифлисе или по крайней мере должность губернатора в одной из кавказских провинций... а между тем Барятинскому это и в голову не приходило». Может, и так – отсутствием честолюбия Владимир Александрович не страдал, а тут его делают, говоря по-современному, массовиком-затейником, пусть и высокого ранга. Графа не радует даже любимый Тифлис, он «начал не на шутку томиться таким положением, насутился и стал хандрить»...

И еще один фактор. Признавая, что Барятинский стоит намного выше него на служебной лестнице, Соллогуб все-таки не хочет видеть в нем упоенного властью начальника: «По светским условиям, детским воспоминаниям и товарищеским отношениям мы были равны, и разыгрывать роль обер-гофмаршала его двора вовсе не входило в мои планы». В общем, решительное объяснение с наместником неизбежно. Разговор получается резкий, Барятинский заявляет, что Соллогуб вечно торопится, и что его прескверный характер не позволяет ему ужиться ни с кем. В общем, опять холодное прощание с главой края, опять спешный отъезд в Петербург. Вот так и получилось, что в это пребывание в Грузии Соллогу не удалось отметить на литературном поприще.

В третий раз он приезжает в Тифлис в 1871-м, и снова по приглашению наместника Кавказа, на этот раз великого князя Михаила Романова. Писатель считает себя уже стариком, хотя ему всего 58 лет. Да и город уже не тот, что жил в его воспоминаниях: «Тифлис начала пяти-десятих годов вовсе не походил на Тифлис теперешний; все в нем дышало Востоком, восточной негой, восточной ленью, широким восточным гостеприимством... Такая чудная природа окружала его, такое лучезарное солнце освещало его самые сокровенные и некрасивые уголки, что в нем весело жилось и дышалось легко... Того простодушия, того яркого восточного колорита, что было при Воронцове, я уже не нашел. В крае – я позволю себе так выразиться – уже завоняло Петербургом». И это впечатление, не может не воплотиться на бумаге:

Не смею выразить я вслух,
Но мир войны не заменяет;
Здесь прежде был свободы дух,
Теперь... чиновником воняет...

Однако последний приезд графа знаменателен, конечно же, не только этими строчками. В Грузию прибывает Александр II с сыновьями. И жена кутаисского военного губернатора просит Соллогуба устроить «торжественный праздник в честь царственного гостя». Припомнив, как за два года до этого, на открытии Суэцкого канала, чествовали императрицу Франции Евгению и императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, Соллогуб решает тряхнуть стариной. Правда, «празднику с местным колоритом» мешает

дождь, но бал и живые картины удаются на славу. Естественно, от известного писателя все ждут и стихотворного произведения. И оно зачитывается императору «в присутствии двух-трех приближенных». Так впервые звучит знаменитое «Алаверды»:

С времен, давным-давно отжитых,
Преданьям Иверской земли,
От наших предков знаменитых,
Одно мы слово сберегли;
В нем нашей удали начало,
Преданье счастья и беды,
Оно всегда у нас звучало:
Аллаверды! Аллаверды!

Теперь у этой песни много вариантов, но мало, кто помнит ее создателя...

Восторженно встречают эти стихи и в Тифлисе, автор признается: «Они до-ставили мне едва ли не величайшую овацию, какой я был героем». За несколько дней до отъезда Соллогуба, «прежние сослуживцы-воронцовцы» устраивают ему прощальный ужин: «Самым радушным образом и с такою задушевностью, точно мои старые друзья чувство-вали, что мы все там собрались вместе в последний раз». Самый красивый тост, превознося заслуги Соллогуба на Кавказе, поднимает выдающийся грузинский поэт-романтик, князь Вахтанг Орбелиани. В ответ ему гость заявляет, что «работали для края» именно собравшиеся, а он лишь «скакал на пристяжке». И это после всего, что мы видели на очередной сололакской странице! К тому же, можно сказать, что в Тбилиси есть памятник Соллогубу. Нигде в мире нет, а здесь есть. Речь идет о Музее Грузии имени С.Джанашиа, ведь в прошлом это тот самый Кавказский музей, который создавал граф. А еще имя Соллогуба в Тбилиси связано с картиной «Дама с девочкой» – работой известного портретиста Ивана Макарова, хранящейся в одном из частных собраний. Это – единственный портрет жены и маленькой дочки Владимира Александровича, скончавшейся в детстве. Он хранился в семье другой дочери – Натальи, вышедшей в Петербурге замуж за князя Георгия Чичуа и вместе с ним переехавшей в Тифлис в 1904 году. Долгое время портрет висел в доме их дочери Майи Чичуа. Ведь внучка Соллогуба жила в любимом им Тбилиси...

Ну, а мы, бережно возвращая на полку «Салалакские досуги», кстати, ни разу не издававшиеся после 1855 года, повторим вслед за Владимиром Александровичем: «Да сохранит Бог и Грузию, и нас всех, от половинных чувств и половинных убеждений и познаний».

СТРАНИЦА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Открывая эту сололакскую страницу, давайте, вспомним, какими только домашними именами не называли друг друга в семьях на столь далеких от Куры невольских берегах. А конкретно – в семьях династии, которая ровно 400 лет назад пришла к управлению Россией и с годами сыграла решающую роль в судьбах соседних стран.

По дворцовым залам, паркам и будуарам царского Дома Романовых ходили Фрике (Екатерина II), Никс и Никки (Николай I и Николай II), Бланш Флер и Аликс (их жены, полные тезки – Александры Федоровны), Бэби и Мэри (дети последнего российского императора Алексей и Мария), Джорджи и Милый Флоппи (его братья Георгий и Михаил)... По-домашнему называли Романовы даже венценосную европейскую родню. Великая английская королева Виктория была попросту Гранни, а германский император Вильгельм II – дядей Вилли. Конечно же, имели свои прозвища и многочисленные великие князья, тоже на европейский или уменьшительный русский лад. Но за всю историю династии лишь двое из этих ближайших императорских родственников в семье

носили грузинские имена – Сандро и Гоги. Что вполне естественно – они родились и провели юность в Грузии.

Первый из них, великий князь Александр Романов – создатель военной авиации и один из реформаторов военного флота России – оказался еще и блестящим писателем. Увы, широкой читательской аудитории он не известен, но ведь не зря книгу его воспоминаний опубликовали в 1930-х годах нью-йоркское издательство «Феррер и Рейнхерт» и знаменитый парижский эмигрантский журнал «Иллюстрированная история». Так что, Александру Михайловичу – самое место на литературной странице. Тем более, что его слогу и образности, честности и юмору могут позавидовать многие профессиональные литераторы. Так что, через ворота на тогдашней Лабораторной (ныне Ингореква) улице в Сололаки мы отправляемся во Дворец наместника на Кавказе (сегодня – Дворец учащейся молодежи), в котором скоро завершатся перестройка и расширение. В должности наместника – великий князь Михаил Николаевич, брат царя. И в одной из дворцовых спален супруга дарит ему четвертого сына. Впрочем, предоставим самому Сандро – внуку Николая I – право рассказать о своем появлении на свет. Уверяю, вы об этом не пожалеете.

«Ее Императорское Высочество великая княгиня Ольга Федоровна благополучно разрешилась от бремени младенцем мужского пола, - объявил 1-го апреля 1866 года адъютант великого князя Михаила Николаевича..., вбегая в помещение коменданта тифлисской крепости. - Прошу произвести пушечный салют в 101 выстрел!» «Это даже перестает быть забавным, - сказал старый генерал, сумрачно глядя на висящий перед ним календарь. - Мне уже этим успели надоесть за все утро. Забавляйтесь вашими первоапрельскими шутками с кем-нибудь другим, или же я доложу об этом Его Императорскому Высочеству». «Вы ошибаетесь, Ваше Превосходительство, - нетерпеливо перебил адъютант, - это не шутка. Я иду прямо из дворца и советовал бы вам исполнить приказ Его Высочества немедленно!» Комендант пожал плечами, еще раз кинул взор на календарь и отправился во дворец проверить новость.

Полчаса спустя забухали орудия, и специальное сообщение наместника оповестило взволнованных грузин, армян, татар и других народностей Тифлиса о том, что новорожденный великий князь будет наречен при крещении Александром в честь его царственного дяди – Императора Александра II.

2-го-апреля 1866 года, в возрасте 24 часов от роду, я стал полковником 73-го Крымского пехотного полка, офицером 4-го стрелкового батальона Императорской фамилии, офицером гвардейской артиллерийской бригады и офицером кавказской гренадерской дивизии. Красавица мамка должна была проявить всю свою изобретательность, чтобы утомонить обладателя всех этих внушительных рангов».

Мальчика сразу же стали называть на грузинский лад – Сандро, а сам он, повзрослев, вспоминает первые годы своей жизни в родном Тифлисе как «радости беззаботного детства». Правда, с семи до пятнадцати лет он живет уже другой жизнью – той, которую предписывали семейные традиции воспитания, значительно отличавшиеся от привычек богатых тифлисцев. Дети наместника спят не на мягчайших восточных ложах, а «на узких железных кроватях с тончайшими матрацами, положенными на деревянные доски». Подъем в шесть утра, после молитвы на коленях – холодная ванна и завтрак «из чая, хлеба и масла... чтобы не приучать к роскоши». А затем – семь часов занятий с домашними педагогами, да еще уроки гимнастики, фехтования, обращения с огнестрельным оружием, верховой езды, штыковой атаки и... артиллерии. Так что, Сандро признается: «В возрасте десяти лет я мог бы принять участие в бомбардировке большого города». И уж совсем не соответствуют тифлисскому отношению к детям лишение сладкого из-за ошибки в иностранном слове и стояние «на коленях носом к стене в течение целого часа» из-за ошибки в математической задаче. Согласитесь, что сегодняшние «сильные мира сего» создают для своих чад совсем иные условия воспитания... Но все это, как говорится, внутреннее семейное дело – «все монархи Европы, казалось, пришли к молчаливому

соглашению, что их сыновья должны быть воспитаны в страхе Божиим для правильного понимания будущей ответственности пред страной». Зато сам Тифлис, чуждый великодержавным условностям, баловал, привлекал, очаровывал, не мог не влюбиться в себя. И опять-таки, никто не расскажет об этом лучше, чем сам Сандро Романов.

«Окна кабинета выходили на Головинский проспект... Мы не могли насмотреться на высоких, загорелых горцев в серых, коричневых или же красных черкесках, верхом на чистокровных скакунах, с рукой на рукояти серебряных или золотых кинжалов, покрытых драгоценными камнями. Привыкнув встречать у отца представителей различных кавказских народностей, мы без особого труда различали в толпе беспечных персов, одетых в пестрые ткани и ярко выделявшихся на черном фоне одежд грузин и простой формы наших солдат. Армянские продавцы фруктов, сумрачные татары верхом на мулах, желтолицые бухарцы, кричащие на своих тяжело нагруженных верблюдах, - вот главные персонажи этой вечно двигавшейся панорамы. Громада Казбека, покрытого снегом и пронизывавшего своей вершиной голубое небо, царила над узкими, кривыми улицами, которые вели к базарной площади и были всегда наполнены шумной толпой. Только мелодичное журчание быстрой Куры смягчало шумную гамму этого вечно кричащего города».

Знакомство с жизнью Тифлиса, любовь к нему – «беспечное счастье» для всех сыновей наместника. Беспечное настолько, что может довести даже до крамолы: «Мы любили Кавказ и мечтали остаться навсегда в Тифлисе. Европейская Россия нас не интересовала. Наш узкий, кавказский патриотизм заставлял нас смотреть с недоверием и даже с презрением на расшитых золотом посланцев С.-Петербурга. Российский монарх был бы неприятно поражен, если бы узнал, что ежедневно от часу до двух и от восьми до половины девятого вечера пятеро его племянников строили на далеком юге планы отделения Кавказа от России. К счастью для судеб Империи, наши гувернеры не дремали, и в тот момент, когда мы принимались распределять между собой главные посты, неприятный голос напоминал нам, что нас ожидают в классной комнате неправильные французские глаголы».

А еще Грузия дарит Сандро счастье от пребывания в Боржоми. Вот уж, воистину, не было бы счастья, да... На этом курорте мальчик заболевает скарлатиной, родители должны ехать в Петербург – их ждет император, и с больным остаются несколько придворных. Шесть недель они балуют подопечного, военный оркестр близ дома играет его любимые мелодии. Но и это еще не все: «Множество людей, проезжавших Кавказ, посещали Боржом, чтобы навестить больного сына наместника, и большинство из них приносили мне коробки с леденцами, игрушки и книги приключений Фенимора Купера. Доктор, графиня Алопеус и кн. Меликов охотно играли со мной в индейцев. Вооруженный пашкой адъютанта, доктор пытался скальпировать объятую ужасом придворную даму, которая, исполняя порученную ей роль, призывала на помощь бесстрашного «Белого Человека Двух Ружей». Последний, опершись о подушку, прицеливался в ее мучителей...» И, конечно, спасал благородную даму.

А после выздоровления – пикники, поездки в лес, в горы и никаких уроков – все наставники уехали в Петербург! Ну, как еще может мальчик, влюбленный в красоты грузинской природы, отреагировать на все это, если не следующим образом: «Возвратившись в Тифлис, я рассеянно слушал оживленные рассказы моих братьев. Они наперебой восхищались роскошью Императорского дворца в С.-Петербурге, но я не променял бы на все драгоценности российской короны время, проведенное в Боржоме. Я мог бы им рассказать, что в то время, как они должны были сидеть навтыжку за Высочайшим столом, окруженные улыбающимися царедворцами и подобострастными лакеями, я лежал часами в высокой траве, любясь цветами, росшими красными, голубыми и желтыми пятнами по горным склонам, и следя за полетами жаворонков, которые поднимались высоко вверх и потом камнем падали вниз, чтобы посмотреть на свои гнезда. Однако я смолчал, боясь, что мои братья не оценят моего простого счастья».

Сандро впервые ненадолго покидает Грузию в девять лет, в 1875-м семья едет в крымское императорское имение. В Ялте гостей встречает и сопровождает до знаменитого дворца в Ливадии лично Александр II, в шутку заявивший, что хочет видеть самого дикого из своих кавказских племянников. На мраморной лестнице, ведущей к морю, «дикий кавказец» встречает мальчика на пару лет моложе себя и няню с ребенком на руках. Мальчик протягивает руку: «Я твой кузен Никки, а это моя маленькая сестра Ксения». Так начинается теснейшая дружба, длившаяся сорок два года. Сандро вспоминает: «Я часто не соглашался с его политикой и хотел бы, чтобы он проявлял больше осмотрительности в выборе высших должностных лиц и больше твердости в проведении своих замыслов в жизни. Но все это касалось «Императора Николая II» и совершенно не затрагивало моих отношений с «кузеном Никки». Кстати, эти два близких друга внешне очень похожи... Что же касается девочки Ксении, то, когда ей исполнится девятнадцать лет, Сандро женится на ней. Первым среди Романовых нарушив закон, предписывавший членам царствующего дома вступать в браки только с равными по крови представителями иностранных династий. А их первая дочь Ирина станет женой князя Феликса Юсупова, той самой красавицей, из-за которой попадет в смертельную ловушку Григорий Распутин. Через три года – первое путешествие в Европейскую Россию: «Не отрываясь от окна вагона, я следил за бесконечной панорамой русских полей, которые показались мне, воспитанному среди снеговых вершин и быстрых потоков Кавказа, однообразными и грустными. Мне не нравилась эта чуждая мне страна, и я не хотел признавать ее своей родиной. В течение суток, по нашем выезде из Владикавказа (до которого мы добрались в экипажах), я видел покорные лица мужиков, бедные деревни, захолустные, провинциальные города, и меня неудержимо тянуло в Тифлис обратно». Еще пара лет – и первый выезд за границу, на родину матери в немецкий Баден. И вновь Сандро не надо никаких краев кроме Грузии: «В течение четырех месяцев тысячи верст будут отделять нас от нашего любимого Кавказа. Напрасно я пробовал прибегнуть ко всевозможным хитростям, чтобы остаться в Тифлисе, мои родители не хотели считаться с моими желаниями».

Но какова бы ни была любовь к Грузии, к ее столице, член царствующей семьи не может, не должен подчиняться своим детским и юношеским привязанностям. И в 1881-м великий князь Александр Михайлович навсегда покидает свой любимый край. Он совершит кругосветное путешествие, предскажет русско-японскую войну, будет сражаться на море и восстанавливать флот, руководить Советом торгового мореплавания, создаст авиационные школы и войдет в Кабинет министров, в Первую мировую войну возглавит морскую и полевую авиацию, чудом избежит гибели после революции. И до самой смерти во французском Рокебрюне будет вспоминать тифлисскую пору как самую счастливую в своей жизни. А еще надо прочесть, как он писал о смерти одного из царских братьев – «бедный Георгий умер от скоротечной чахотки у нас под Боржомом». Не правда ли, это местоимение «у нас», вполне естественно пришедшее на ум через более чем полвека расставания с Грузией, свидетельствует о многом?

А теперь – о другом Георгии, родном брате Сандро. Именно он – второй великий князь, которого в августейшем семействе называли грузинским именем. Судьба Гоги не менее интересна, но более трагична. Он был старше Сандро на три года, тоже родился в Грузии, но не в Тифлисе, а в поселке Белый Ключ (ныне – Тетри-Цкаро). Как и все в семье наместника, прожившей на Кавказе почти двадцать лет, он обожает край, в котором появился на свет. Мальчик очень любит рисовать и однажды, за торжественным столом, перед гостями, робко говорит о том, что хотел бы стать художником-портретистом. Как вспоминает его брат Сандро, эти «слова были встречены зловещим молчанием всех присутствующих, и Георгий понял свою ошибку только тогда, когда камер-лакей, обносивший гостей десертом, прошел с малиновым мороженым мимо его прибора». Ничего не попишешь – членам императорской семьи уготовано только военное поприще, не случайно, уже в семь лет у Георгия – чин прапорщика. И, став юношей, вымахав

ростом под два метра, он собирается служить в Грузинском гренадерском полку, квартирующем в Тифлисе. Тем более, что именно в этом городе он безумно влюбляется в грузинскую княжну, которую зовут... Нина Чавчавадзе. Она – тезка и родственница той самой легендарной Нины, жены Грибоедова. Но свадьба срывается, и отнюдь не по вине Романовых – родные Нины не хотят, чтобы представительница знатного грузинского рода оказалась в иерархическом подчинении у немецких родственников императрицы.

Когда семья уезжает из Грузии, Гоги становится офицером лейб-гвардии Конной артиллерийской бригады, и, попав под влияние одного из великих князей, «находит удовлетворение от жизни в атмосфере манежа, лошадей и кавалерийских офицеров». Однако и военная карьера не складывается – молодой человек повреждает ногу. Это огорчает всех, кроме него самого – из Грузии он привез увлечение нумизматикой и историей, его коллекции монет нет равных в России. Для пополнения коллекции он не жалеет никаких денег, его монографии на эту тему издаются даже по сей день. И – уникальный случай! – все Романовы единодушно поддерживают такое увлечение великого князя. В 1909-м император назначает Гоги директором только что основанного Музея Александра III (ныне – Русский музей), предоставив все права для пополнения собрания картин и уникальных раритетов. Большую часть своей ценнейшей коллекции монет Георгий Михайлович передает этому музею, а каковы были ее экспонаты, мы поймем, заглянув уже в 2008 году на аукцион в Лондоне. На нем лишь одна монета из этой коллекции продается за 3 миллиона долларов – мировой рекорд «для неамериканской монеты». Ну, а в личной жизни Гоги долго не везет. Неудачна и вторая попытка жениться – на внучке английской королевы. И лишь в тридцать семь лет он женится на греческой принцессе Марии. Первую дочку называет, конечно же, Ниной...

Руководство музеем и научную работу Георгий Михайлович совмещает с дипломатической и военной деятельностью, в Первую мировую войну становится генерал-инспектором при ставке Верховного главнокомандующего. И, изучив положение дел в войсках, делает изумивший царя вывод: революция в России неизбежна, если не принять Конституцию и не даровать демократические свободы. В ответ Николай II отправляет его в очередную инспекционную поездку. Но предсказание Гоги сбывается. И, с падением монархии, и его самого, и детище всей его жизни ждет гибель. Уникальная нумизматическая коллекция частью распродается, частью идет на переплавку. А Георгий Михайлович вместе с братом Николаем, получившим в Тифлисе прозвище Бимбо, оказывается в заложниках у большевиков. С ними еще несколько великих князей, не «тифлисской» ветви.

Красный террор начинается в августе 1918-го, после убийства главы Петроградской ЧК Урицкого и ранения Ленина. В газете «Северная Коммуна» мы можем увидеть «1-й список заложников», возглавляемый великими князьями. Следующий документ датирован 9 января 1919 года – Президиум ВЧК утверждает уже заранее вынесенный смертный приговор. Краткий протокол всего из нескольких строк страшен: «Слушали: Об утверждении высшей меры наказания чл. быв. императорск. - Романовск. своры. Постановили: Приговор ВЧК к лицам, быв. имп. своры – утвердить, сообщив об этом в ЦИК». Правда, тут хорошо налаженная чекистская машина уничтожения может забуксовать: Бимбо – брат Гоги и Сандро, еще в Тифлисе увлекшийся историей, – всемирно известный ученый. Он возглавлял в России Историческое и Географическое общества, Общество защиты и сохранения памятников искусства и старины. Да еще активно участвовал в «великокняжеской фронде» - будучи горячим поклонником парламентаризма, критиковал самодержавие и сразу же признал Временное правительство.

Так что, после вынесения ему смертного приговора, в ужас приходят члены Академии наук и Максим Горький. Они просят Совнарком и лично Ленина освободить оппозиционного царизму ученого. Но в протоколе заседания Совнаркома, под председательством Ленина, 16 января рассматривавшего это ходатайство, мы прочтем еще

одну потрясающую фразу: «Революции историки не нужны!» И чекисты дают исчерпывающий ответ: «Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Совете Коммун Северной Области полагает, что не следовало бы делать исключения для бывшего великого князя Н.М. Романова, хотя бы по ходатайствам Российской Академии Наук». Есть еще и другая, не документированная версия – Ленин сделал вид, что соглашается с Горьким, но обманул его. Не в первый и не в последний раз...

Как бы то ни было, оказывается, что революции не нужны не только историки, но и коллекционеры, да и вообще вся «бывшая императорская свора». Несмотря на то, что никто из этих заложников не воевал в белой армии, не готовил контрреволюционные заговоры, не вывозил ценности за рубеж. Георгия и Николая Романовых, счастливое детство которых прошло у сололакских склонов, расстреляли морозной ночью в Петропавловской крепости, вместе с их родственниками. Бимбо упал первым, Гоги добивали в могиле...

А судьба сделала удивительный, уже посмертный поворот в истории Георгия Михайловича. Его дочь Нина через три года после гибели отца, вышла в Лондоне замуж за грузинского князя по имени Павел и по фамилии... Чавчавадзе. Так что, Нина Чавчавадзе в роду Гоги все-таки оказалась. Ну, а приглядевшись к тому, как продолжается род его брата Александра, мы увидим: большинство членов царского Дома Романовых, живущих сейчас в самых разных странах, - потомки именно Сандро, родившегося в Тифлисе.

На какие, все же, удивительные дороги выводят сололакские улочки...

СТРАНИЦА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

«Смуглый отрок бродил по аллеям...» Кому не известна эта строка Анны Ахматовой и продолжающие ее слова о том, что «столетие мы лелеем еле слышный шелест шагов»! А, ведь, шелест шагов того человека, правда, уже ставшего 30-летним, лелеют и тбилисские аллеи, в том числе и в Сололаки. Одни из них, пусть в измененном виде, сохранились – как в парке бывшего Дворца наместника Кавказа. Другие стерло время – как в знаменитой усадьбе Прасковьи Ахвердовой, куда мы с вами, дорогие читатели, уже не раз заглядывали. На месте ее сегодня столь символично высится Дом писателей Грузии. Как бы то ни было, факт остается фактом: в 1829 году и в Тифлисе «иглы сосен густо и колко устилают низкие пни» перед Пушкиным. И в прихожих домов тифлисцев, восторженно принимающих его, лежит уже не лицейская треуголка, воспетая Ахматовой, а модный цилиндр *a la Bolivar*, на столах кабинетов – не «растрепанный том Парни», а томики самого Александра Сергеевича...

Между тем, в поездку на Кавказ Пушкин отправляется далеко не в самом лучшем настроении. Тяжелым гнетом давит негласный, но бдительный взгляд «государева ока» - жандармского ведомства графа Бенкендорфа. На личном фронте – неудача: в конце апреля рука и сердце предложены Наталье Гончаровой, но ее мать заявляет, что девушка слишком молода, и это, по признанию Пушкина, сводит его с ума. В общем, больше оставаться в Петербурге поэт не может. В поездке за границу ему отказано, он просится на войну с турками, но ответ категоричен: «Государь благосклонно принял ваш вызов, но изволил отозваться, что, так как все места в армии уже заняты, то Его Величество воспользуется первым случаем употребить отличные дарования ваши на пользу отечества». Однако Пушкин уже решил: «или на войну», или «вон из России». И, не спрашивая высочайшего повеления, он берет подорожную в Тифлис.

Маршрут – традиционный для русских литераторов, в жизни которых вольнолюбивый Кавказ во все времена играет особую роль. К тому же, ему есть с кем встретиться – в Грузии служат его брат Лев, Николай Раевский, с которым Пушкин подружился еще в юности, друзья-лицеисты, брат Пуцина – Михаил, другие близкие люди, в том числе и сосланные декабристы. Да еще появляется возможность отдать дань популярнейшему

тогда жанру – описанию путешествия. В общем, исполняется давняя мечта – еще за год до того, как он покинул северные берега ради южных гор, его ближайший друг Петр Вяземский писал жене: «Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся...»

И вот, Пушкин стремится как можно скорее попасть в столицу Грузии: «Мне предстоял путь через Курск и Харьков; но я своротил на прямую Тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский университет... Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною». В бричке, в почтовой коляске, просто верхом он преодолевает тысячи верст. А, не дождавшись в Пасанаури лошадей, немалый путь до Ананури, а потом и до Душети вообще проходит пешком, в одиночку, по колено в грязи, почти в полной темноте. Между тем, в Тифлисе его уже ждут. Прочтем послание, которое Тифлиссский военный губернатор Степан Стрекалов получает от исполняющего должность начальника штаба Отдельного кавказского корпуса Дмитрия Остен-Сакена почти за три недели до появления Пушкина в этом городе: «Известный стихотворец, отставной чиновник X класса Александр Пушкин отправился в марте месяце из С.-Петербурга в Тифлис, а как по высочайшему его имп. величества повелению состоит он под секретным надзором, то, по приказанию его сиятельства, имея честь донести о том вашему превосходительству, покорнейше прошу не оставить распоряжением вашим о надлежащем надзоре за ним по прибытии его в Грузию». Его сиятельство – это главнокомандующий Корпусом граф Иван Паскевич, фактически – наместник края.

А вот у тифлисской интеллигенции, с которой власти (впрочем, не только в те времена и в той стране) не так уж часто делятся информацией «государственной важности», – свои, неутешительные сведения. Открыв первую русскую официозную газету в Закавказье «Тифлиссские ведомости», мы увидим, как огорчается 26 апреля ее издатель и редактор Павел Санковский: «Мы ожидали сюда одного из лучших наших поэтов, но сия надежда, столь лестная для любителей кавказского края, уничтожена последними письмами, полученными из России». К счастью и для Грузии, и для Александра Сергеевича, огорчения напрасны. Практически через месяц после появления этой информации, в 11 часов вечера 27 мая, Пушкин впервые въезжает в Тифлис.

Приезжает он не один, с ним несколько попутчиков, в том числе – юный Николай Потокский, единственный не доехавший до Тифлиса верхом. В дороге он сильно простудился и, по его словам, именно «Александр Сергеевич позаботился о тележке, уложил меня на сено и так доставил полуживого в Тифлис». Путники, разместившиеся в единственной тогда тифлисской гостинице Поля Матасси, наутро отправляются в армию. А оставшийся в городе Пушкин несколько дней продолжает навещать больного. С этого отнюдь не поэтического занятия и начинается его пребывание в Тифлисе. Останавливается он неподалеку, в доме Цуринова на Эриванской площади, которая только начала застраиваться у подножья Сололакской возвышенности. Линия, где стоял этот дом до 1895 года, по сей день называется Пушкинской улицей.

Не будем на этих страницах в очередной раз повторять все, впечатлившее в Тифлисе великого поэта. Описания «Жаркого города», его жителей, нравов, базара, серных бань и прочая, прочая, прочая, конечно же, лучше всего перечесть непосредственно в «Путешествии в Арзрум». Мы же позволим себе остановиться на двух моментах. Первый: «Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!» С высоты нашего времени зная, что именно этот «гастроном» и есть тот самый Степан Стрекалов, которому поручен «надлежащий надзор» за поэтом, можно предположить: в тот день в его доме показательно «разносили кушанья по чинам». Ведь «неблагонадежный» должен был знать свое место в компании бравых генералов... Второй момент намного ближе к нашим дням: «В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и

отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Все прочее дорого в соразмерности». Нынешние тбилисцы, с их мизерными доходами, несомненно, согласятся, что с пушкинских времен с ценами мало что изменилось.

А вот на другом торжественном приеме при полном присутствии чопорной местной знати поэт, говоря современным языком, «оттянулся по полной». Слово - князю Е.Палавандову: «Наша грузинская аристократия приготовила в Тифлисе роскошный пир в честь нового наместника, графа Паскевича. За почетным обедом, между прочим, для парада прислуживали сыновья самых родовитых фамилий в качестве пажей... Я был поражен и не могу забыть испытанного изумления: резко бросилось мне в глаза на этом обеде лицо одного молодого человека... Он был во фраке и белом жилете... за стол не садился, закусывал на ходу... Шутки составляли потом предмет толков и разговоров во всех аристократических кружках: откуда взялся он, в каком звании состоит и кто он такой, смелый, веселый, безбоязненный?.. Когда указали, что он русский поэт, начали смотреть на него, по нашему обычаю, с большею снисходительностью. Готовы были отдать ему должное почтение, как отмеченному божьим перстом, если бы только могли примириться с теми странностями и шалостями, какие ежедневно производил он... Не вяжется представление, не к таким видам привыкли. Наши поэты степеннее и важнее самих ученых». Ох, дорогие читатели! С последней фразой князя – о поэтах – можно безоговорочно согласиться и сегодня.

Пушкин же, далекий от той бронзовой непогрешимости, в которую его так стараются облачить, ежедневно шалит и на тифлисских улицах, «ни на кого и ни на что не обращая внимания». Больше всего он любит приходить на Армянский базар – нынешнюю улицу Леселидзе. Там его можно застать в обнимку с продавцом-татаринном, в перетаскивании огромной охапки чуреков и в иных «неподобающих» званию поэта деяниях. На других базарах он «якшается» с не блещущими чистотой рабочими-мушамы, на улицах затевает с мальчишками чехарду, а на Эриванскую площадь выходит «в шинели, накинутой прямо на ночное белье, покупая груши, и тут же, в открытую и не стесняясь никем, поедая их». Да и вообще, «перебегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеется»... В общем, по признанию чинных горожан, он «заставил говорить о себе и покачивать многодумно головами не один год потом».

Совсем по-иному вспоминают его в домах местной интеллигенции. «В бытность Пушкина в Тифлисе, общество молодых людей, бывших на службе, было весьма образованное и обратило особенное внимание Пушкина, который встретил в среде их некоторых из своих лицейских товарищей. Нужно ли говорить о том, с каким восторгом приветствовали все Великого Поэта на чужбине? Всякий, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед, или вечер, или завтрак, и, конечно, всякой жаждал беседы с ним», - свидетельствует почитатель поэта Константин Савастьянов. Да и у самого поэта – приятные воспоминания: «В Тифлисе я пробыл около двух недель, познакомился с тамошним обществом. Санковский, издатель Тифлисских Ведомостей, рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, о А.П. Ермолове и проч... Они вообще нрава веселого и общежительного... Голос песен грузинских приятен».

Вот и переводит он одну из таких песен – «Ахало агнаго», публикуя ее в «Путешествии в Арзрум». Автор и грузинское название там не указаны, однако установлено, что слова написаны поэтом начала XIX века Дмитрием Туманишвили, и грузинский текст с подстрочником хранятся в архиве Пушкина под названием «Весенняя песня». А еще в черновиках «Путешествия...» встречается имя выдающегося поэта Александра Чавчавадзе, неправильное написание его фамилии Александр Сергеевич даже выправил в одной из французских публикаций. Так что, многие исследователи предполагают, что гость Тифлиса побывал и в семье Чавчавадзе – тестя столь дорогого пушкинскому сердцу Александра Грибоедова. Может, не случайно именно Чавчавадзе первым перевел на

родной язык пушкинское стихотворение. Это – «Пробуждение», уже на следующий год после отъезда русского поэта напечатанное в газете «Тбилисис уцхებანი» (грузинская версия «Тифлисских ведомостей»).

Но, при всем этом, в городе Пушкину не сидится, и его можно понять: всех близких и друзей, к которым он так стремился, здесь не оказалось, они – на турецком фронте. Поэтому 10 июня, как только от Паскевича поступает разрешение ехать в действующую армию, поэт отправляется в путь, чтобы второй раз появиться в Тифлисе почти через два месяца. И лишь после его отъезда в армию, 28 июня, мы сможем прочесть в «Тифлисских ведомостях» сообщение о пребывании поэта в Грузии: «Надежды наши исполнились: Пушкин посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе; желая видеть войну, он испросил дозволение находиться в походе при действующих войсках, и 16 июня прибыл в лагерь при Искан-су. Первоклассный поэт наш пребывание свое в разных краях России означил произведениями достойными славного его пера: с Кавказа дал он нам Кавказского пленника, в Крыму написал Бахчисарайский фонтан, в Бессарабии – Цыган, во внутренних провинциях списал он прелестные картины Онегина. Теперь читающая публика наша соединяет самые приятные надежды с пребыванием А.Пушкина в стане кавказских войск и вопрошает: чем любимый поэт наш, свидетель кровавых битв, подарит нас из стана военного? Подобно Горацию, поручавшему друга своего опасной стихии моря, мы просим судьбу сохранить нашего поэта среди ужасов брани». Почему эта заметка появилась с таким опозданием, когда Пушкин был уже в Арзруме? Скорее всего, редактор ждал «отмашки» от Паскевича, ведь речь шла о поднадзорном, да еще приехавшем без разрешения.

...И вот, на календаре – первое августа. Тот самый юный Николай Потокский, которого Пушкин на телеге привез в Тифлис, уже выздоровел и, в очередной раз сидит в гостях у редактора Санковского. Разговор за чаем, как всегда, заходит о Пушкине – что он теперь делает, здоров ли он? И тут с шумом распахивается дверь, в комнату влетает Александр Сергеевич, бросается в объятия хозяина дома. Свое скорое возвращение из армии объясняет так: «Ужасно мне надоело вечное хождение на помочах этих опекунов, дядек; мне крайне было жаль расстаться с моими друзьями, но я вынужден был покинуть их. Паскевич надоел мне своими любезностями; я хотел воспеть геройские подвиги наших молодцов-кавказцев; это – славная часть нашей родной эпопеи, но он не понял меня и старался выпроводить из армии. Вот я и поспешил к тебе, мой друг, Павел Степанович». В последующие дни они вновь встречаются, гуляют по городу, поднимаются на еще свежую могилу Грибоедова, «перед коей Александр Сергеевич преклонил колена и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слезы».

Во второй свой приезд поэт останавливается у лицейского друга Владимира Вольховского. Тот – обер-квартирмейстер Кавказского корпуса и живет в здании Комендантского управления (теперь там стоит кинотеатр «Руставели»). Пушкину есть о чем рассказать другу – и о том, как он повидал в действующей армии всех, кого хотел, и о том, как не сложились отношения с графом Паскевичем. Генерал мечтал, что знаменитый поэт воспевает его воинские подвиги, но пушкинская муза не согласилась на это. Потому-то поэт так быстро и уехал с фронта. Но в Тифлисе жалеть об этом ему не приходится – короткий приезд заполнен интереснейшими встречами в светских гостиных. А верх гостеприимства проявляется в одном из легендарных Ортачальских садов. «Наконец, все общество, соединившись в одну мысль, положило сделать в честь его общий праздник», – свидетельствует все тот же Савостьянов. Тифлисский кутеж, да еще в Ортачальских садах – это такое сочетание, что нам стоит заглянуть туда. Тем более что организаторы задумали праздник в «европейско-восточном стиле».

...Сад, в котором собралось больше тридцати человек, освещают разноцветные фонари и свечи, в центре его – огромный вензель Пушкина. Гости встречают всеобщим громогласным: «Ура!», после которого каждый стремится выразить свои чувства. Затем в дело вступают певцы и музыканты всех живущих в Грузии народов «и все европейское,

западное смешалось с восточноазиатским разнообразием в устах образованной молодежи». А за столом тосты перемежаются с обсуждениями самых различных тем, рассказами, анекдотами. Сам Пушкин в ударе – прерывает серьезные разговоры, чтобы присоединиться к пляске, восхищает всех «своими милыми рассказами и каламбурами». Таким счастливым Тифлис его еще не видел, он «приводил в восторг всех, забавлял, восхищал... был не только говорлив, но даже красноречив...»

Как и полагается, застолье длится до утра. «Небо начало румяниться», когда, уже не под кахетинское, а под шампанское, поднимается тост за Пушкина. Европейский оркестр грянул музыку из оперы француза Франсуа Буальдье «Белая дама» и на «русского Торквато» возлагается венок. Гости поднимают на плечи, усаживают на возвышение, каждый подходит к нему с заздравным бокалом. В ответ он молчит, но на глазах его – слезы. А затем – ответная «стройная благоуханная речь», завершившаяся так: «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего; я вижу, как меня любят, понимают и ценят, - и как это делает меня счастливым!» И объятия с собравшимися...

В «Путешествии в Арзрум» всего несколько строк о втором приезде в грузинскую столицу: «В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских». Мы же, открыв 32-й номер «Тифлиских ведомостей», прочтем: «6 августа А.Пушкин, возвратившийся из Арзрума, выехал из Тифлиса к Кавказским минеральным водам. Любители изящного должны теперь ожидать прелестных подарков, коими гений Пушкина, возбужденный воспоминаниями о Закавказском крае, без сомнения наделит литературу». Кстати, автору этой информации Санковскому Пушкин пишет уже из Петербурга, объясняя, почему вовремя не прислал для публикации стихотворение «Калмычке», написанное по пути в Грузию. И добавляет: «Я же обязан вам большой благодарностью за присылку Тифлиских ведомостей – единственной из русских газет, которая имеет свое лицо и в которой встречаются статьи, представляющие действительный, в европейском смысле, интерес». Согласитесь, такая оценка тифлисского издания из пушкинских уст дорогого стоит. А теперь, давайте, заглянем в еще одну переписку – вскоре после того, как поэт вернулся с Кавказа.

Шеф жандармов, Главный начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии граф Александр Бенкендорф: «Милостивый государь, Александр Сергеевич! Государь император, узнав по публичным известиям, что Вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же, с своей стороны, покорнейше прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предупредив меня о намерении вашем сделать сие путешествие. В ожидании отзыва Вашего для доклада его императорскому величеству, имею честь быть с истинным почтением и преданностью, милостивый государь, ваш покорный слуга А.Бенкендорф. Его высокоблагородию А.С. Пушкину».

Из ответа, который Пушкин написал на французском: «Генерал, с глубочайшим прискорбием я только что узнал, что его величество недоволен моим путешествием в Арзрум... Приехав на Кавказ, я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой выхлопотать для меня разрешение на приезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника. Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво; но, по крайней мере, здесь нет ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные

побуждения... Я покорнейше прошу ваше превосходительство быть в этом случае моим провидением и остаюсь с глубочайшим почтением, генерал, вашего превосходительства нижайший и покорнейший слуга. Александр Пушкин».

Думается, что после фразы «моему поступку могут приписать иные побуждения» самое время вспомнить уже слышанные слова «вон из России» и «Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся...» Куда это «далее?» Значит, не случайно бытует мнение, что кавказская поездка поэта не исключала попытку отправиться из Тифлиса, говоря по современному, в дальнее зарубежье? Все может быть, Пушкин непредсказуем...

Как бы то ни было, столица Грузии гордится тем, что стала яркой страницей жизни великого русского поэта. В этом крае он встретил свое тридцатилетие, по словам Викентия Вересаева, путешествие на Кавказ стало последней главой его молодости... Легенды о том, как Пушкин гулял по Тифлису, живут до сих пор, мраморная доска на «Чрели абано» хранит его восторженное высказывание о серных банях, в Пушкинском сквере стоит бюст поэта, установленный в 1892 год на деньги, собранные горожанами. Это – пятый памятник Александру Сергеевичу в Российской империи, город над Курой установил его после Москвы, Петербурга, Кишинева и Одессы, по праву войдя в список пушкинских мест. А через семь лет после этого в Тифлисе издали ставший раритетом сборник «Кавказская поминка о Пушкине» с уникальными материалами о пребывании поэта на Кавказе...

Можно еще долго перечислять свидетельства того, как Тбилиси любит и помнит Пушкина. Можно еще раз вспоминать, в каких произведениях отразилось пушкинское пребывание на Кавказе. Можно перечислять и перечислять, что сказали и написали о Пушкине грузинские литераторы и исследователи... Но все это отлично изложено на других страницах. А в завершении этой мы просто вспомним слова поэта, с грустью сказанные при расставании с Грузией: «Прощай, волшебный край!» Уж что-то, а эпитеты для того, чтобы выразить свои чувства, Александр Сергеевич всегда находил очень точные...

Издатель -
Международный культурно-просветительский Союз
«Русский клуб»

Руководитель проекта
НИКОЛАЙ СВЕНТИЦКИЙ
Заслуженный деятель искусств РФ

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН
ЗАВЛЕКАЮТ В СОЛОЛАКИ СТЕРТЫЕ ПОРОГИ...»
Литературные страницы старого района

Редактор
Александр СВАТИКОВ

Над изданием работали
Арсен ЕРЕМЯН
Елена ШАХНАЗАРОВА
Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ
Валентина ПЛЮСНИНА

Дизайн и компьютерная верстка
Давид ЭЛБАКИДЗЕ-МАЧАВАРИАНИ